



КЛАССИЧЕСКАЯ  
И ОДНОВРЕМЕННАЯ  
МУЗЫКА



Эрнест

# ХЕМИНГУЭЙ

Победитель  
не получает  
ничего

документы

Либретто

музыкальный спектакль

## Annotation

Сборник рассказов, который критики единодушно считают самым пессимистическим и безжалостным из всего написанного Хемингуэем.

Время действия — Великая депрессия. И писателю удалось в полной мере передать безнадежность того времени, парадоксально переходящую в истерическое возбуждение.

Героев этого сборника легче назвать антигероями. В мире рассказов Хемингуэя царят гангстеры и боксеры-профессионалы, певички, проститутки и уцелевшие солдаты, так и не сумевшие найти себя в мирной жизни...

Жизнь, любовь, дружба — все это, по мнению Хемингуэя, не стоит ни гроша в трудные времена.

Что же тогда имеет ценность для людей, утративших надежду?..

---

- [Эрнест Хемингуэй](#)
  - [1. После шторма](#)
  - [2. Там, где светло и чисто](#)
  - [3. Свет мира](#)
  - [4. Счастливых праздников, джентльмены!](#)
  - [5. Перемены](#)
  - [6. Какими вы не будете](#)
  - [7. Мать красавчика](#)
  - [8. Пишет читательница](#)
  - [9. Посвящается Швейцарии](#)
  - [10. Ожидание](#)
  - [11. Трактат о мертвых](#)
  - [12. Вино Вайоминга](#)
  - [13. Дайте рецепт, доктор](#)
  - [14. Отцы и дети](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)

- [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)
  - [23](#)
  - [24](#)
  - [25](#)
-

**Эрнест Хемингуэй**  
**ПОБЕДИТЕЛЬ НЕ ПОЛУЧАЕТ НИЧЕГО**  
**(сборник рассказов)**

# 1. После шторма

Началось ни с чего, с какой-то ерунды насчет выпивки, а потом мы подрались, и я поскользнулся, и он повалил меня, и придавил коленом, и сжал мне обеими руками горло, точно хотел задушить, и я все время старался достать из кармана нож, чтобы ударить его и высвободиться. Все так перепились, что некому было оттащить его. Он душил меня и колотил головой об пол, но я все-таки достал и раскрыл нож, полоснул его по руке, и он отпустил меня. Теперь уж он не мог бы меня удержать. Потом он откатился в сторону, сжал раненую руку и стал кричать, а я сказал:

— Какого черта ты вздумал меня душить?

Я, кажется, убил бы его. Я целую неделю не мог глотать. Он сильно помял мне горло.

Ну, я вышел оттуда, а его компания осталась с ним, но кое-кто из них вышел за мной, а я кружным путем спустился к пристани, и какой-то встречный мне сказал, что здесь, поблизости, убили человека. Я сказал: «Кто убил?», а он сказал: «Не знаю, кто убил, только он умер»; было темно, и на улице стояли лужи, и фонари не горели, а окна побиты, и лодки все на причале, и деревья повырывало из земли, и кругом обломки; и я сел в ялик, и поплыл, и нашел свою моторную лодку там, где оставил, с внутренней стороны Манго-Ки, и она была в целости, только полна воды. Я выкачал и вычерпал воду, а луна светила, но облака все время набегали на нее, и все еще порядком качало. Я вышел в море, и когда рассвело, я уже миновал Восточную гавань.

Да, скажу я вам, шторм был нешуточный. Я первый вышел в море, и такой воды вы, наверно, никогда не видели. Она была белая, как щелок, и от Восточной гавани до Саут-Уэст-Ки берега было не узнать. А по самой середине в песке промыло широкий пролив. Деревья повырывало из земли, и вода в новом проливе вся белая, как мел, и на ней всякая всячина: ветки и целые деревья, а мертвые птицы так и плавают. За островами собралось пеликанов видимо-невидимо, и летали всякие птицы. Наверно, укрылись здесь, когда почуяли, что приближается буря.

Я просидел в лодке у Саут-Уэст-Ки целый день, и никто за мной не явился. Я первый вышел в море и увидел на воде обломок мачты и понял, что где-то затонул корабль, и стал искать его. Я его нашел. Это была трехмачтовая шхуна, и остатки ее мачт чуть торчали из воды. Она затонула на глубоком месте, так что я ничем не мог поживиться. Тогда я двинулся

далъше, высматривая, нет ли еще чего-нибудь. Я всех опередил и знал, что вся, какая ни на есть, добыча должна достаться мне. Я плыл над мелями с того места, где оставил трехмачтовую шхуну, и ничего не нашел и заплыл очень далеко. Я добрался до зыбучих песков и ничего не нашел и поплыл дальше. И вот, когда уже стал виден маяк Ребекка, я заметил в одном месте очень много птиц и двинулся к ним посмотреть, что там такое, а птиц там была целая туча.

Из воды торчало что-то вроде мачты, и когда я приблизился, птицы взлетели и стали кружиться в воздухе. Вода в этом месте была чистая, а над водой чуть виднелась какая-то мачта, и когда я подошел еще ближе, я увидел, что внизу, под водой, что-то темнеет, какая-то длинная тень, и я совсем наехал на нее, и там, под водой, был пароход; так и лежал весь под водой, огромный-преогромный. Я проехал над ним. Он лежал на боку, и крма погрузилась очень глубоко. Иллюминаторы все были закрыты, и я видел, как блестело стекло в воде, и видел весь его корпус; такого большого парохода мне еще никогда не приходилось видеть, и я проехал над ним до конца, а потом отвел немного лодку и бросил якорь, подтащил ялик на нос, спихнул его в воду и пошел на веслах, а птицы так и вились вокруг меня.

У меня был водяной телескоп, трубка такая, с ним мы ездили на ловлю губок, и рука у меня так дрожала, что я чуть не выронил его. Все иллюминаторы, которые я видел, когда проплывал над пароходом, были закрыты, но где-то внизу около днища было, должно быть, отверстие, потому что оттуда все время всплывали какие-то куски. Невозможно было разобрать, что это такое. Просто куски. На них-то и зарились птицы. Птиц было без конца. Они так и вились надо мной; крик стоял отчаянный.

Я видел все совершенно отчетливо. Я видел, что борт у парохода выпуклый, и под водой он казался длинной в целую милю. Он лежал на чистой белой песчаной отмели, а то, что я увидел сначала, была фок-мачта или какая-то рея, которая наискось торчала из воды, потому что пароход лежал на боку. Носовая часть ушла не очень глубоко. Когда я встал на буквы на его борту, вода доходила мне до подбородка. Но ближайший иллюминатор был на глубине двенадцати футов. Я еле-еле достал до него багром и попробовал разбить, но не мог. Стекло было слишком толстое. Тогда я вернулся к лодке, взял гаечный ключ и привязал его к концу багра и все-таки не мог разбить стекло. Так я и сидел, глядя в трубку на пароход, полный всякой всячины, — я ведь первый нашел его, а попасть в него не мог. А в нем, наверно, было добра на пять миллионов.

Меня даже в пот ударило, когда я подумал, сколько в нем всякого добра. Через иллюминатор, который был ближе всего ко мне, что-то

виднелось, но я не мог разобрать через трубку, что именно. От багра тоже не было никакого толку, и я разделся и, стоя, несколько раз глубоко вдохнул воздух, а потом нырнул с кормы, зажав в руке ключ, и поплыл вниз. Секунду я держался за край иллюминатора и смог заглянуть в каюту, а в каюте была женщина, волосы у нее распустились и лежали на воде. Я ясно видел, как она там плавает, и два раза сильно ударил по стеклу ключом и слышал звук удара, но стекло не разбилось, и мне пришлось выплыть наверх.

Я отдохнул, держась за борт ялика, влез в ялик, несколько раз глубоко вдохнул воздух и опять нырнул. Я поплыл, крепко ухватился пальцами за край иллюминатора и изо всех сил ударил по стеклу ключом. Я видел через стекло, как женщина плавает там в каюте. Ее волосы были связаны лентой у самой головы и свободно лежали на воде. На одной руке у нее я разглядел кольца. Она была у самого иллюминатора, и я два раза ударил по стеклу, но оно даже не треснуло. Поднимаясь на поверхность, я думал, что не вытерплю и начну дышать еще в воде.

Я нырнул еще раз и надколол стекло, только надколол, и когда я поднялся, из носу у меня шла кровь, и я постоял на борту парохода, касаясь босыми ногами букв и высунув голову из воды, а потом поплыл к ялику, подтянулся, влез в него и сидел, дожинаясь, когда перестанет болеть голова, и глядел в трубку, но кровь текла так сильно, что трубку пришлось выполоскать. Тогда я лег на спину и зажал рукой нос, чтобы остановить кровь, и долго лежал, закинув голову, глядел в небо, а птицы тысячами вились вокруг меня.

Когда кровь остановилась, я еще раз посмотрел в трубку и стал грести к лодке, чтобы поискать чего-нибудь потяжелее, чем ключ, но ничего не мог найти, даже багра для губок. Я повернулся обратно, и вода становилась все прозрачнее, и было видно все, что всплывало там, над белой песчаной отмелью. Я оглянулся, нет ли акул, но их не было. Акулу я увидел бы издали. Вода была совсем прозрачная, и песок — белый. На ялике был крюк, который служил якорем, я отрезал его и прыгнул с ним в воду. Он потянул меня вниз, мимо иллюминатора, я хватался за что попало и не мог удержаться и погружался все глубже и глубже, скользя вдоль выпуклого борта. Пришлось разжать пальцы и выпустить крюк. Я слышал, как он ударился обо что-то, и мне показалось, что прошел целый год, прежде чем я всплыл на поверхность. Ялик далеко утянуло отливом, и я поплыл к нему, а из носу у меня текла кровь прямо в воду, и я порадовался, что нет акул; но я очень устал.

Голова у меня трещала, я отдохнул, лежа в ялике, а потом стал грести

обратно. Дело шло к вечеру. Я еще раз нырнул с ключом и опять без толку. Ключ был слишком легкий. Не имел смысла нырять без большого молотка или еще чего-нибудь тяжелого. Тогда я опять привязал ключ к багру и, глядя в трубку, стучал и колотил по стеклу, пока ключ не сорвался, и я увидел в трубку совершенно отчетливо, как он скользнул вдоль борта, а потом прямо вниз и ушел в зыбучий песок. Больше я ничего не мог сделать. Ключ пропал, крюк я тоже упустил, оставалось только вернуться к лодке. Я так устал, что не мог втащить ялик на борт, а солнце уже садилось. Птицы разлетались, покидали пароход, и я двинулся к Саут-Уэст-Ки, таща ялик на буксире, а птицы летели передо мной и позади меня. Я порядком устал.

Ночью опять налетел шторм и бушевал целую неделю. Невозможно было добраться до парохода. Из города пришли и сказали мне, что тот человек, которого мне пришлось полоснуть ножом, живехонек, только рука болит, и я вернулся в город, и меня отпустили на поруки за пятьсот долларов. Все кончилось хорошо, потому что несколько человек, все мои приятели, показали, что он гонялся за мной с топором, но к тому времени, когда мы доплыли до парохода, греки уже взорвали его и обобрали дочиста. Сейф они высадили динамитом. Так никто и не узнал, сколько им досталось. Пароход вез золото, и они взяли все. Обобрали его дочиста. Я нашел его, а сам не получил ни цента.

Вот уж действительно не повезло людям. Когда налетел ураган, пароход был у самой Гаваны, но не мог зайти в порт, а может быть, владельцы не позволили капитану повернуть к берегу, ведь это тоже было рискованно; капитан-то, говорят, хотел попытаться; так и пришлось им идти в шторм, и в темноте их гнало ветром, и они старались пересечь залив между маяком Ребекка и Тортугасом, и тут пароход наскочил на зыбучие пески. Может быть, у него снесло руль. Может быть, он вообще потерял управление. Как бы то ни было, они не могли знать, что пески зыбучие, и когда ударились о дно, капитан, наверно, приказал открыть кингстоны, чтобы пароход сидел крепче. Но он наткнулся на зыбучие пески, и когда открыли кингстоны, ушел в песок кормой, а потом повернулся на бок. На нем было четыреста пятьдесят пассажиров и команда, и все они, наверно, были там, когда я нашел его. Кингстоны, наверно, открыли, как только он ударился о дно, и не успел он сесть, как зыбучие пески стали его засасывать. А потом, наверно, взорвались котлы, от этого-то и всплывали те куски, которые я видел. Странно только, что совсем не было акул. Ни одной рыбы не было. Уж я бы увидел ее на чистом белом песке.

Теперь-то рыб сколько угодно; морские окунь, и самые крупные. Пароход теперь почти весь ушел в песок, но они живут внутри него; самые

крупные окуни. Некоторые весят по триста — четыреста фунтов. Как-нибудь надо будет выехать половить их. С того места, где он затонул, виден маяк Ребекка. Теперь там поставили буй. Пароход лежит в самом конце зыбучих песков, у самого входа в залив. Еще каких-нибудь сто ярдов — и он бы проскочил. В темноте, в шторм, он только чуть-чуть отклонился от курса, а маяка не было видно, очень уж сильный лил дождь. Да и не привыкли они к таким передрягам. Капитаны пассажирских пароходов не привыкли удирать от ураганов. Они знают свой курс, и я слыхал, у них там есть какой-то компас, который сам управляет пароходом. Вряд ли капитан знал, где находится, когда их гнал шторм, но пароход вполне мог бы проскочить. Возможно, впрочем, что он потерял руль. Во всяком случае, попади он только в залив, дальше до самой Мексики им не на что было бы натыкаться. Да, весело было, наверно, когда они ударились о дно в такой дождь и ветер и капитан приказал открыть кингстоны. Конечно, на палубе в такую погоду никого не было. Все, наверно, ушли вниз. На палубе никто бы не выдержал. Внутри, там, наверно, было на что посмотреть, потому что погружался он, сами понимаете, быстро. Я ведь видел, как мой ключ ушел в песок. Капитану и в голову не пришло, что пески тут зыбучие, вряд ли он хорошо знал эти воды. Он знал только то, что ударился не о камни. И, наверно, он все видел из рубки. Наверно, понял в чем дело, когда пароход начал оседать. Интересно, сколько времени это продолжалось. Интересно, был ли с ним старший помощник. Вы как думаете, они остались в рубке или выскочили? Трупов так и не нашли. Ни одного. Никто не всплыл. А со спасательными поясами иногда плавают долго. Наверно, все погибли внутри. Так вот все и досталось грекам. Все решительно. Они, верно, не мешкали. Обчистили его на совесть. Сначала явились птицы, потом я, потом греки, и даже птицам досталось больше, чем мне.

*Переводчик: М. Лорье*

## 2. Там, где светло и чисто

Был поздний час, и никого не осталось в кафе, кроме одного старика — он сидел в тени дерева, которую отбрасывала листва, освещенная электрическим светом. В дневное время на улице было пыльно, но к ночи роса прибивала пыль, и старику нравилось сидеть допоздна, потому что он был глух, а по ночам было тихо, и он это ясно чувствовал. Оба официанта в кафе знали, что старик подвыпил, и хоть он и хороший гость, но если он слишком много выпьет, то уйдет, не заплатив; потому они и следили за ним.

— На прошлой неделе он пытался покончить с собой, — сказал один.

— Почему?

— Впал в отчаяние.

— От чего?

— Ни от чего.

— А откуда ты знаешь, что ни от чего?

— У него же уйма денег.

Оба официанта сидели за столиком у стены возле самой двери и смотрели на террасу, где все столики были пусты, кроме одного, за которым сидел старики в тени дерева, листья которого слегка покачивались на ветру. Солдат и девушка прошли по улице. Свет уличного фонаря блеснул на медных цифрах у него на воротнике. Девушка шла с непокрытой головой и спешила, чтобы не отстать.

— Патруль заберет его, — сказал официант.

— Какая ему разница, он своего добился.

— Ему бы сейчас лучше с этой улицы уйти. Прямо на патруль насоччит. И пяти минут нет, как прошли.

Старик, что сидел в тени, постучал рюмкой о блюдце. Официант помоложе вышел к нему.

— Вам чего?

Старик посмотрел на него.

— Еще коньяку, — сказал он.

— Вы будете пьяны, — сказал официант. Старик смотрел на него.

Официант ушел.

— Всю ночь просидит, — сказал он другому. — Я совсем не сплю. Раньше трех никогда не ляжешь. Лучше бы помер на прошлой неделе.

Официант взял со стойки бутылку коньяку и чистое блюдце и направился к столику, где сидел старик. Он поставил блюдце и

налил рюмку до краев.

— Ну, что бы вам помереть на прошлой неделе, — сказал он глухому.

Старик пошевелил пальцем.

— Добавьте еще, — сказал он.

Официант долил в рюмку еще столько, что коньяк потек через край, по рюмке, прямо в верхнее блюдце из тех, что скопились перед стариком.

— Благодарю, — сказал старик.

Официант унес бутылку обратно в кафе и снова сел за столик у двери.

— Он уже пьян, — сказал он.

— Он каждую ночь пьян.

— Зачем ему было на себя руки накладывать?

— Откуда я знаю.

— А как он это сделал?

— Повесился на веревке.

— Кто ж его из петли вынул?

— Племянница.

— И зачем же это она?

— За его душу испугалась.

— А сколько у него денег?

— Уйма.

— Ему, должно быть, лет восемьдесят.

— Я бы меньше не дал.

— Шел бы он домой. Раньше трех никогда не ляжешь. Разве это дело?

— Нравится ему, вот и сидит.

— Скучно ему одному. А я не один — меня жена в постели ждет.

— И у него когда-то жена была.

— Теперь ему жена и к чему.

— Ну, не скажи. С женой ему, может быть, лучше было бы.

— За ним племянница ходит.

— Знаю. Ты ведь сказал — это она вынула его из петли.

— Не хотел бы я дожить до его лет. Противные эти старики.

— Не всегда. Он старик аккуратный. Пьет, ни капли не прольет. Даже сейчас, когда пьяный. Посмотри.

— Не хочу и смотреть на него. Скорей бы домой шел. Никакого ему дела нет до тех, кому работать приходится.

Старик перевел взгляд с рюмки на другую сторону площадки, потом — на официантов.

— Еще коньяку, — сказал он, показывая на рюмку.

Тот официант, который спешил домой, вышел к нему.

— Конец, — сказал он так, как говорят люди неумные с пьяными или иностранцами. — На сегодня ни одной больше. Закрываемся.

— Еще одну, — сказал старик.

— Нет, конечно.

Официант вытер край столика полотенцем и покачал головой.

Старик встал, не спеша сосчитал блюдца. Вынул из кармана кожаный кошелек и заплатил за коньяк, оставив полпесеты на чай.

Официант смотрел ему вслед. Старик был очень сгорблен, шел неуверенно, но с достоинством.

— Почему ты не дал ему еще посидеть и выпить? — спросил официант, тот, что не спешил домой. Они стали закрывать ставни. — Ведь еще и половины третьего нет.

— Я хочу домой, спать.

— Ну, что значит один час.

— Для меня — больше, чем для него.

— Час для всех — час.

— Ты и сам, как старик, рассуждаешь. Может, купишь себе бутылку и выпьешь дома.

— Это совсем другое дело.

— Да, это верно, — согласился женатый. Он не хотел быть несправедливым. Просто он очень спешил.

— А ты? Не боишься прийти домой раньше обычного?

— Ты что, оскорбить меня хочешь?

— Нет, друг, просто шучу.

— Нет, — сказал тот, который спешил. Он запер внизу ставню и выпрямился. — Доверие. Полное доверие.

— У тебя и молодость, и доверие, и работа есть, — сказал официант постарше. — Что еще человеку надо.

— А тебе чего не хватает?

— А у меня всего только работа.

— У тебя все то же, что и у меня.

— Нет. Доверия у меня никогда не было, а молодость прошла.

— Ну, чего стоишь? Перестань говорить глупости, давай запирать.

— А я вот люблю засиживаться в кафе, — сказал официант постарше. — Я из тех, кто не спешит в постель. Из тех, кому ночью нужен свет.

— Я хочу домой, спать.

— Разные мы люди, — сказал официант постарше. Он уже оделся, чтобы уходить. — Дело вовсе не в молодости и доверии, хоть и то и другое

чудесно. Каждую ночь мне не хочется закрывать кафе потому, что кому-нибудь оно очень нужно.

— Ну что ты, ведь кабаки всю ночь открыты.

— Не понимаешь ты ничего. Здесь, в кафе, чисто и опрятно. Свет яркий. Свет — это большое дело, а тут вот еще и тень от дерева.

— Спокойной ночи, — сказал официант помоложе.

— Спокойной ночи, — сказал другой.

Выключая электрический свет, он продолжал разговор с самим собой. Главное, конечно, свет, но нужно, чтобы и чисто было и опрятно. Музыка ни к чему. Конечно, музыка ни к чему. У стойки бара с достоинством не постоишь, а в такое время больше пойти некуда. А чего ему бояться? Да не в страхе дело, не в боязни! Ничто — и оно ему так знакомо. Все — ничто, да и сам человек ничто. Вот в чем дело, и ничего, кроме света не надо, да еще чистоты и порядка. Некоторые живут и никогда этого не чувствуют, а он-то знает, что все это ничто и снова ничто, ничто и снова ничто. Отче ничто, да святится ничто твое, да приидет ничто твое, да будет ничто твое, яко в ничто и в ничто. *Nada y pues nada*<sup>[1]</sup>.

Он усмехнулся и остановился возле бара с блестящим титаном для кофе.

— Что вам? — спросил бармен.

— Nada.

— Otro loco mas<sup>[2]</sup>, — сказал бармен и отвернулся.

— Маленькую чашечку, — сказал официант.

Бармен налил ему кофе.

— Свет яркий, приятный, а вот стойка не начищена, — сказал официант.

Бармен посмотрел на него, но ничего не ответил. Был слишком поздний час для разговоров.

— Еще одну? — спросил он.

— Нет, благодарю вас, — сказал официант и вышел.

Он не любил баров и погребков. Чистое, ярко освещенное кафе — совсем другое дело. Теперь, ни о чем больше не думая, он пойдет домой, в свою комнату. Ляжет в постель и на рассвете наконец уснет. В конце концов, сказал он сам себе, может быть, это просто бессонница. Со многими бывает.

Переводчик: Е. Романова

### 3. Свет мира

Когда мы показались в дверях, хозяин бара поднял голову, потом протянул руку и накрыл два блюда с бесплатной закуской стеклянными крышками.

— Кружку пива, — сказал я.

Он нацедил пива, лопаточкой смахнул пену и взглянул на меня, не выпуская кружки из рук. Я положил на стойку деньги, и он подвинул пиво ко мне.

— А тебе? — спросил он Тома.

— Тоже.

Он нацедил еще кружку пива, смахнул пену и, увидев монету на стойке, поставил кружку перед Томом.

— В чем дело? — спросил Том.

Хозяин бара ему не ответил. Он посмотрел мимо нас и спросил человека, который только что вошел:

— Тебе?

— Виски, — сказал тот.

Хозяин достал бутылку, стакан и еще стакан с водой.

Том протянул руку и снял крышку с блюда с закуской. На блюде лежало заливное из поросячих ножек и тут же деревянная штука, похожая на ножницы, сделанные из двух деревянных вилок.

— Нет, — сказал хозяин и опять накрыл блюдо стеклянной крышкой. Вилочные ножницы остались у Тома в руке. — Положи на место, — сказал хозяин.

— Идите вы знаете куда, — сказал Том.

Хозяин, не спуская с нас взгляда, нагнулся и сунул руку под стойку. Я положил на тарелку пятьдесят центов, и он снова выпрямился.

— Чего еще? — спросил он.

— Пива, — сказал я, и прежде чем нацедить пива, он снял крышки с обоих блюд.

— Ваше заливное провоняло, — сказал Том и выплюнул на пол то, что откусил. Хозяин ничего не сказал. Человек, который пил виски, заплатил и вышел не оглядываясь.

— Сам ты провонял, — сказал хозяин бара. — Такие — всегда вонючие.

— Он говорит, что мы такие, — сказал мне Томми.

— Слушай, — сказал я, — давай уйдем отсюда.  
— Убирайтесь вон, паршивцы, — сказал хозяин.  
— А мы и так уходим, — сказал я. — Без вас решили.  
— Мы придем еще, — сказал Томми.  
— Суньтесь только, — сказал ему хозяин.  
— Объясни ему, что он ошибся, — попросил меня Томми.  
— Ладно, пошли, — сказал я. На улице было темно и хорошо.  
— Куда это мы с тобой попали? — сказал Томми.  
— Не знаю, — сказал я. — Идем на станцию.

Мы вошли в город с одного конца, а выходили теперь с другого. В воздухе пахло кожей, дубильным экстрактом и наваленными повсюду опилками. Когда мы подходили к городу, уже темнело, а теперь стало совсем темно, и подморозило, и лужи на улицах затянуло по краям льдом.

На станции сидели пять шлюх, дожидавшиеся поезда, шестеро белых мужчин и три индейца. В станционном помещении было тесно, жарко от печки и полно едкого дыма. Когда мы вошли туда, все молчали, и окошечко кассы было заперто.

— А дверь не надо закрывать? — сказал кто-то.

Я повернулся, чтобы посмотреть, кто это сказал. Это был один из белых. Он был, как и все, в кожаных штанах, клетчатой рубахе и резиновых сапогах лесоруба, но без шапки, и лицо у него было белое, и руки тоже белые и тонкие.

— Что ж, закроете вы дверь или нет?  
— Можно и закрыть, — сказал я и закрыл дверь.  
— Спасибо, — сказал он. Лесоруб, сидевший рядом, фыркнул.  
— Ты никогда не водился с поваром? — спросил он меня.  
— Нет.  
— Вот попробуй с нашим. — Он поглядел на соседа. — Он это любит. Повар, поджав губы, смотрел в другую сторону.

— Он натирает руки лимонным соком, — продолжал лесоруб. — Он ни за что на свете не окунет их в лохань с посудой. Посмотри, какие они у него белые.

Одна из шлюх громко захохотала. Я никогда не видел такой толстой шлюхи и вообще такой толстой женщины. На ней было шелковое платье из такого шелка, что кажется то одного цвета, то другого. Рядом с ней сидели еще две, тоже очень толстые, но эта, наверно, весила пудов десять. Трудно было поверить собственным глазам, глядя на нее. Все три были в платьях из такого шелка. Они все сидели рядом на скамье. Они казались огромными. Остальные две были самые обыкновенные шлюхи, с

крашенными пергидролем волосами.

— Посмотри на его руки, — сказал лесоруб и кивнул на повара. Толстая шлюха опять захохотала и вся затряслась.

Повар обернулся и сердито крикнул ей:

— Молчи ты, слоновая туша.

Она продолжала хохотать и трястись.

— Ой, господи, — сказала она. У нее был приятный голос. — Ой, господи боже мой.

Две другие толстые шлюхи сидели тихо и смирились, как будто не очень хорошо понимали, что делается вокруг; они были очень толстые, почти такие же, как первая. В них тоже было пудов по семи. Остальные две молчали с достоинством.

Кроме повара и того, кто говорил о нем, в помещении было еще два лесоруба — один только слушал, с интересом и немного стыдясь, другой как будто собирался вступить в разговор — и двое шведов. На краю скамьи сидели двое индейцев, а третий стоял у стены.

Лесоруб, который собирался вступить в разговор, сказал мне почти шепотом:

— Наверно, похоже, будто влезаешь на стог сена.

Я засмеялся и повторил его слова Томми.

— Черт его знает, в жизни не видал ничего подобного, — продолжал он. Посмотрите на эту троицу.

Тут заговорил повар.

— Сколько вам лет, ребятки?

— Мне девяносто шесть, а ему шестьдесят девять, — сказал Томми.

— Ха-ха-ха! — Толстая шлюха тряслась от хохота. У нее был удивительно красивый голос. Остальные шлюхи даже не улыбнулись.

— И зачем говорить гадости, — сказал повар. — Я ведь по-хорошему спросил.

— Одному семнадцать, другому девятнадцать, — сказал я.

— Ты что это? — оглянулся на меня Томми.

— Ничего, сиди спокойно.

— Можете звать меня Алисой, — сказала толстая шлюха и снова затряслась.

— Это твое настоящее имя? — спросил Томми.

— Настоящее, — сказала она. — Алиса. Правда? — обратилась она к тому лесорубу, что сидел рядом с поваром.

— Алиса. Верно.

— Это ты хотела бы, чтоб тебя так звали, — сказал повар.

— Меня так и зовут, — сказала Алиса.

— А этих как зовут? — спросил Томми.

— Хейзл и Этель, — сказала Алиса. Хейзл и Этель улыбнулись. Они, видно, не отличались умом.

— А тебя как зовут? — спросил я одну из пергидрольных блондинок.

— Фрэнсис, — сказала она.

— Фрэнсис, а дальше?

— Фрэнсис Уилсон. Тебе-то что за дело?

— А тебя как? — спросил я вторую.

— Отстань, чего привязался, — сказала она.

— Он просто хочет, чтобы мы все подружились, — сказал лесоруб, который говорил про повара. — Ты разве не хочешь с нами подружиться?

— Нет, — сказала блондинка. — С тобой — нет.

— Ну и злюка, — сказал лесоруб. — Самая настоящая злюка.

Блондинка посмотрела на другую блондинку и покачала головой.

— Дубье стоеросовое, — сказала она.

Алиса снова захахотала и затряслась всем телом.

— Ничего смешного, — сказал повар. — Вы все смеетесь, но тут нет ничего смешного. Скажите лучше, мальчики, куда вы едете?

— А вы куда? — спросил его Том.

— Я хочу попасть в Кадильяк, — сказал повар. — Вы никогда там не бывали? У меня там сестра замужем.

— Он бы сам не прочь замуж, — сказал лесоруб в кожаных штанах.

— Ну что это, в самом деле! — сказал повар. — Неужели нельзя без гадостей?

— Стив Кетчел был из Кадильяка, и Эд Уолгэст тоже оттуда, — сказал до сих пор молчавший лесоруб.

— Стив Кетчел, — сказала одна из блондинок пронзительным голосом, как будто ее вдруг прорвало от звука этого имени. — Родной отец застрелил его. Да, как бог свят, родной отец. Таких, как Стив Кетчел, больше нет и не будет.

— Разве его звали не Стэнли Кетчел? — спросил повар.

— Заткнись, ты, — сказала блондинка. — Что ты знаешь о Стиве Кетчеле? Стэнли! Это, может, ты — Стэнли. Стив Кетчел был самый лучший и самый красивый мужчина на свете. Никогда я не видела мужчины чище телом и красивее, чем Стив Кетчел. Такого и не было никогда. Он был похож на тигра, — а кто еще умел так тратить деньги, как Стив Кетчел?

— А ты разве его знала? — спросил кто-то.

— Я его не знала? Я его не знала? Ты еще, может, скажешь, я его не любила? Я его знала, как ты самого себя не знаешь, и я его любила, как ты любишь Бога. Он был самый сильный, самый лучший и最美的男人 on светe, Стив Кетчел, и родной отец пристрелил его, как собаку.

— Ты и на побережье с ним ездила?

— Нет. Я его знала раньше. Из всех мужчин я его одного любила.

Все с уважением слушали пергидрольную блондинку, рассказывавшую все это театральным, приподнятым тоном, только Алиса опять начала трястись. Я сидел рядом с ней и чувствовал это.

— Что ж ты за него замуж не вышла? — спросил повар.

— Я не хотела портить ему карьеру, — сказала пергидрольная блондинка. — Я не хотела быть ему обузой. Ему не нужно было жениться. Ох, господи, что это был за мужчина.

— Очень благородно с твоей стороны, — сказал повар. — Но я слыхал, что Джек Джонсон нокаутировал его.

— Это было жульничество, — сказала пергидрольная. — Грязный негр обманом сбил его с ног. Ему ничего не стоило сделать нокдаун этой толстой скотине, Джеку Джонсону. Чистая случайность, что черномазый побил его.

Отворилось окошечко, и все три индейца подошли к кассе.

— Стив сделал ему нокдаун, — сказала пергидрольная. — Он оглянулся, чтобы улыбнуться мне.

— Ты же говорила, что не ездила на побережье, — сказал кто-то.

— Я нарочно приезжала на этот матч. Стив оглянулся, чтобы улыбнуться мне, а эта черномазая сволочь подскочила и сбила его с ног. Стиву и сотня таких была бы нипочем.

— Он был классный боксер, — сказал лесоруб.

— А что, скажешь, нет? — сказала пергидрольная. — Скажешь, теперь есть такие боксеры? Он был как бог, честное слово. Такой белый, и чистый, и гладкий, и красивый, и ловкий, и быстрый, как тигр или как молния.

— Я видел этот матч в кино, — сказал Томми. Мы все были очень растроганы. Алиса все тряслась, и я посмотрел и увидел, что она плачет. Индейцы уже вышли на перрон.

— Он мне был лучше всякого мужа, — сказала пергидрольная. — Мы были все равно что обвенчаны перед Богом, и я теперь принадлежу ему, и всегда буду принадлежать, и все, что во мне есть, все только его. Пусть другие берут мое тело. Душа моя принадлежит Стиву Кетчелу. Это был мужчина, черт подери.

Все сидели как на иголках. Было грустно и неловко. Вдруг Алиса заговорила, продолжая трястись:

— Врешь ты все, — сказала она своим грудным голосом. — В жизни ты не спала со Стивом Кетчелом, и ты сама это знаешь.

— Как ты смеешь так говорить? — гордо откликнулась пергидрольная.

— Смею, потому что это правда, — сказала Алиса. — Из всех вас я одна знала Стива Кетчела, потому что я из Манселоны, и я там встречалась с ним, и это правда, и ты знаешь, что это правда, и пусть меня господь бог разразит на этом месте, если это неправда.

— И меня пусть разразит, — сказала пергидрольная.

— Это правда, правда, правда, и ты это знаешь. Я-то ничего не вру, я знаю, что он мне говорил.

— Ну, что ж он тебе говорил? — снисходительно спросила пергидрольная.

Алису так тряслось от слез, что язык ее не слушался.

— Он сказал: "Ты славная баба, Алиса", — вот что он сказал.

— Неправда, — сказала пергидрольная.

— Правда, — сказала Алиса. — Именно так и сказал.

— Неправда, — гордо сказала пергидрольная.

— Нет, правда, правда, правда, вот как перед богом, правда.

— Стив не мог сказать так. Он никогда так не говорил, — самодовольно сказала пергидрольная.

— Это правда, — сказала Алиса своим приятным голосом. — И мне наплевать, веришь ты мне или нет. — Она уже перестала плакать и успокоилась.

— Не может этого быть, чтобы Стив так сказал, — заявила пергидрольная.

— А вот сказал, — повторила Алиса и улыбнулась. — И я очень хорошо помню, когда он это сказал, и я в самом деле была славная баба в то время. Да я и теперь получше тебя, старая ты грелка без воды.

— Не смей оскорблять меня, — сказала пергидрольная. — Болячка десятипудовая, вот ты кто. Не тронь моих воспоминаний.

— Брось, — сказала Алиса своим мягким, певучим голосом. — Нет у тебя никаких воспоминаний, разве только о том, как тебе перевязали трубы и как ты первый раз ходила на шестьсот шесть. Все остальное ты вычитала в газетах. А я здоровая, и ты это знаешь, и хоть я и толстая, а мужчины меня любят, и ты это знаешь, и я никогда не вру, и ты это знаешь.

— Тебя не касаются мои воспоминания, — сказала пергидрольная. — Мои чудные, живые воспоминания.

Алиса посмотрела на нее, потом на нас, и выражение обиды сошло с ее лица. Она улыбнулась, и мне показалось, что я никогда не встречал

женщины красивее. У нее было очень красивое лицо и приятная гладкая кожа, и певучий голос, и она была очень славная и приветливая. Но, господи, до чего же она была толста. Ее толщины хватило бы на трех женщин. Том увидел, что я смотрю на нее, и сказал:

— Пошли. Нечего тут сидеть.

— До свидания, — сказала Алиса. У нее в самом деле был очень приятный голос.

— До свидания, — сказал я.

— Вы в какую сторону, мальчики? — спросил повар.

— В другую, — ответил ему Том.

*Переводчик: Е. Калашникова*

## 4. Счастливых праздников, джентльмены!

В те времена расстояния были совсем другими, пыль несло с холмов — теперь их сровняли с землей, — и Канзас-Сити больше всего походил на Константинополь. Быть может, вам не верится. Никому не верится, хоть это и правда. В тот вечер шел снег, и в витрине магазина автомобилей, светлея на фоне ранних сумерек, стояла гоночная машина, вся посеребренная, с надписью «Дансаржан» на капоте. По-моему, это значило не то серебряный танец, не то серебряный танцор, и хотя я точно не знал, что правильней, я шел по заснеженной улице, любуясь красотой машины и радуясь знанию иностранного языка. Шел я из салуна братьев Вульф, где на Рождество и в День благодарения бесплатно угождали жареной индейкой, к городской больнице, стоявшей на высоком холме, над дымами, домами и улицами города. В приемном покое больницы сидели два хирурга «Скорой помощи» — док Фишер у письменного стола и доктор Уилкокс — в кресле, у стенки.

Док Фишер был худощавый рыжеватый блондин, с тонкими губами, насмешливым взглядом и руками игрока. Доктор Уилкокс, низкорослый и чернявый, всегда носил при себе справочник «Спутник и друг молодого врача», где для каждой болезни были указаны симптомы и лечение. В справочнике был указатель, и по нему, отыскав симптомы, можно было поставить диагноз. Док Фишер предлагал в следующем издании добавить такой указатель, чтобы по способу лечения можно было бы угадать болезнь и симптомы. «Для освежения памяти», — говорил он.

Доктор Уилкокс стеснялся справочника, но обойтись без него не мог. Книжка была переплетена в мягкую кожу, легко умещалась в кармане пиджака, и купил он ее по совету одного из профессоров, который сказал:

— Врач вы никуда не годный, Уилкокс, и я приложил все усилия, чтобы вам не выдавали диплом. Но так как вы все же стали представителем сей ученой профессии, советую вам, для блага человечества, приобрести справочник «Спутник и друг молодого врача» и пользоваться им. Научитесь хотя бы этому.

Доктор Уилкокс ничего не ответил, но в тот же день приобрел книжку в кожаном переплете.

— Привет, Хорейс, — сказал док Фишер, когда я вошел в приемную, где пахло табаком, йодоформом, карболкой и перегретыми радиаторами.

— Джентльмены! — сказал я.

— Что нового в Риальто? — спросил док Фишер. Он любил несколько

вычурные фразы. Мне это казалось верхом изысканности.

— Бесплатная индейка у Вульфа, — ответил я.

— И вы вкусили?

— Обильно.

— Много ли коллег присутствовало?

— Все, весь штат.

— Бурно веселились, как положено в сочельник?

— Не очень.

— Вот доктор Уилкокс тоже слегка вкусили, — сказал док Фишер.

Доктор Уилкокс поглядел на него, потом на меня.

— Выпьем? — спросил он.

— Нет, спасибо, — сказал я.

— Как хотите, — сказал доктор Уилкокс.

— Хорейс, — сказал док Фишер, — вы не возражаете, что я называю вас просто Хорейс?

— Нет.

— Славно, Хорейс, старина. А у нас тут был презанятный случай.

— Да уж, — сказал доктор Уилкокс.

— Помните мальчика, того, что приходил сюда вчера вечером?

— Это какого?

— Того, что избрал удел евнуха.

— Помню.

Я был тут, когда он пришел. Мальчику было лет шестнадцать. Он вошел без шапки, очень взволнованный и перепуганный, но решительный. Он был кудряв, хорошо сложен, с крупным выпуклым ртом.

— Тебе что, сынок? — спросил доктор Уилкокс.

— Хочу, чтоб меня кастрировали, — сказал мальчик.

— Зачем? — спросил док Фишер.

— Я и молился, и чего только не делал — не помогает...

— Чему не помогает?

— Изгнать гнусную похоть.

— Гнусную похоть?

— То, что со мной творится. И никак не остановить. Всю ночь молюсь — не помогает.

— А что с тобой делается? — спросил док Фишер.

Мальчик объяснил.

— Слушай, мальчик, — сказал док Фишер. — Ничего плохого в этом нет. Все так, как надо. Ничего тут плохого нет.

— Нет, это плохо, — сказал мальчик. — Это грех против целомудрия.

Грех против Господа и Спасителя нашего.

— Нет, — сказал док Фишер. — Все это естественно, так и надо, потом ты поймешь, что в этом — счастье.

— Ах, ничего вы не понимаете, — сказал мальчик.

— Выслушай меня, — сказал док Фишер и стал ему объяснять всякие вещи.

— Нет, не буду я вас слушать. Вы меня не заставите.

— Да ты выслушай, прошу тебя, — сказал док Фишер.

— Дурак ты, и больше ничего, — сказал доктор Уилкокс.

— Значит, не сделаете?

— Чего это?

— Не кастрируете меня?

— Слушай, — сказал док Фишер. — Никто тебя кастрировать не станет. Ничего плохого в твоем теле нет. У тебя прекрасное тело, и перестань об этом думать. А если ты верующий, так помни, что то, на что ты жалуешься, вовсе не греховное состояние, а средство принятия таинства.

— Никак не могу остановиться, — сказал мальчик. — Всю ночь молюсь и днем молюсь. Нет, это грех, вечный грех против целомудрия.

— Да иди ты... — сказал доктор Уилкокс.

— Когда так со мной говорят, я не слушаю, — сказал мальчик с достоинством доктору Уилкоксу. — Я вас очень прошу, сделайте! — обратился он к доку Фишеру.

— Нет, — сказал док Фишер. — Нет, мальчик, я уже тебе сказал.

— Гоните вы его отсюда! — сказал доктор Уилкокс.

— Я сам уйду! — сказал мальчик. — Не троньте меня! Я сам уйду. Это было вчера, часов в пять.

— Так что же случилось? — спросил я.

— А то, что нынче, в час ночи, к нам привезли этого мальчика, — сказал док Фишер, — искалечил себя бритвой...

— Кастрировался?

— Нет, — сказал док Фишер, — он не понимал, что такое кастрация.

— Помрет, наверно, — сказал доктор Уилкокс.

— Почему?

— Крови много потерял.

— Наш добрый врачеватель, доктор Уилкокс, мой коллега, был на посту, но не смог найти указания на такой случай в своем справочнике.

— Идите вы к черту с вашими разговорчиками, — сказал доктор Уилкокс.

— Но я же выражаю лишь самое дружественное сочувствие, доктор, — сказал док Фишер, глядя на свои руки, — руки, причинившие ему столько неприятностей из-за его постоянной готовности помочь и полного пренебрежения к федеральным законам. — Вот и Хорейс подтвердит, что мои слова полны самых дружественных чувств. Дело в том, что юноша произвел себе ампутацию, Хорейс.

— Ну и нечего ко мне цепляться, — сказал доктор Уилкокс, — я бы вас попросил ко мне не цепляться.

— Цепляться к вам, доктор? Да еще в такой день — в день Рождества Господа нашего и Спасителя?

— *Нашего* Спасителя? Вы ведь, кажется, еврей? — сказал доктор Уилкокс.

— Верно, верно. Да, верно. Вечно я об этом забываю. Как-то не придаешь значения. Благодарю вас за напоминание, вы очень добры. Правильно. *Vash* Спаситель, без всякого сомнения — именно *vash* Спаситель, — тут и весь путь к светлому Христову воскресению.

— Больно вы умный, — сказал доктор Уилкокс.

— Блестящий диагноз, доктор. Всегда я был больно умный. Во всяком случае, для тех краев. Никогда не умничайте, Хорейс. Правда, особых наклонностей к этому у вас нет, но проблески иногда замечаются. Но какой диагноз! И притом — без справочника!

— Катитесь к черту в зубы! — сказал доктор Уилкокс.

— Все во благовремении, доктор, все во благовремении. Если есть ад, то я, непременно, посещу его. Я даже как-то туда заглядывал. Мельком, конечно. Сразу отвернулся, тут же. А знаете, что сказал этот юноша, когда наш добрый доктор привез его сюда? Он сказал: «Я же просил вас — сделайте сами! Я вас так просил...»

— Да еще на Рождество! — сказал доктор Уилкокс.

— Вряд ли торжественность этого дня имеет тут особое значение, — сказал док Фишер.

— Может, для вас и не имеет, — сказал доктор Уилкокс.

— Слышите, Хорейс? Доктор обнаружил мое уязвимое место, так сказать, мою ахиллесову пяту, и сумел обратить это в свою пользу.

— Больно вы умный, — сказал доктор Уилкокс.

Переводчик: Р. Райт-Ковалева

## 5. Перемены

— Ну, — сказал молодой человек. — Так как же?

— Нет, — сказала девушка. — Не могу.

— То есть не хочешь?

— Я не могу, — сказала девушка. — Не вкладывай другого смысла в мои слова.

— Смысл такой, что не хочешь.

— Что ж, — сказала девушка. — Пусть будет по-твоему.

— Это как раз не по-моему. А хотелось бы, чтобы было по-моему.

— До сих пор так и было, как тебе хотелось, — сказала девушка.

В этот ранний час в кафе, кроме бармена за стойкой, только эти двое сидели у столика в углу. Лето подходило к концу, и оба они были такие загорелые, что выглядели совсем не по-парижски. На девушке был твидовый костюм, ее гладкая кожа отливалась темным золотом, белокурые волосы были коротко подстрижены и откинуты со лба, открывая его прекрасную линию. Молодой человек посмотрел на нее.

— Я ее убью, — сказал он.

— Не надо, прошу тебя, — сказала девушка. У нее были прелестные руки, и молодой человек перевел взгляд на них. Узкие, загорелые и очень красивые руки.

— Убью. Клянусь Богом, убью.

— Легче от этого тебе не станет.

— Ничего умнее ты не могла выдумать? Не могла впутаться в какую-нибудь другую историю?

— Видимо, нет, — сказала девушка. — Что же ты по этому поводу думаешь делать?

— Я уже говорил тебе.

— Нет, правда?

— Не знаю, — сказал он. Она посмотрела на него и протянула ему руку.

— Бедный мой Фил, — сказала она. Он посмотрел на ее руки, но той, что она протянула, не коснулся.

— Спасибо, не надо, — сказал он.

— Просить прощения не стоит?

— Не стоит.

— Может, объяснить — почему?

— Нет, уволь.

— Я очень люблю тебя.

— Да, доказательства налицо.

— Как жаль, — сказала она, — что ты не понимаешь.

— Я понимаю. В том-то и беда. Я все понимаю.

— Да, ты понимаешь, — сказала она. — И от этого, конечно, тебе тяжелее.

— Еще бы, — сказал он, глядя на нее. — И все время буду понимать. И днем и по ночам. Особенно по ночам. Буду, буду понимать. На этот счет можешь не беспокоиться.

— Прости, — сказала она.

— Если б это был мужчина...

— Зачем ты так говоришь? Мужчины бы не было. Ты это знаешь. Ты не веришь мне?

— Вот интересно! — сказал он. — Верить! Очень интересно.

— Прости, — сказала она. — Я, кажется, одно это и твержу. Но если мы понимаем друг друга, стоит ли притворяться, будто понимания нет.

— Верно, — сказал он. — Действительно, не стоит.

— Если хочешь, я вернусь к тебе.

— Нет. Не хочу.

Несколько минут они молчали.

— Ты не веришь, что я люблю тебя? — спросила девушка.

— Перестанем молоть чепуху, — сказал молодой человек.

— Ты правда не веришь, что я тебя люблю?

— А ты бы доказала это на деле.

— Ты раньше был не такой. Ты никогда не требовал от меня доказательств. Это невежливо.

— Смешная ты девочка.

— А ты нет. Ты хороший, и у меня сердце разрывается, оттого что я тебя бросаю и ухожу.

— Да ведь ты иначе не можешь.

— Да, — сказала она. — Не могу, и ты это знаешь.

Он замолчал, и она посмотрела на него и опять протянула ему руку. Бармен стоял у дальнего конца стойки. Лицо у него было белое, и такая же белая была куртка. Он знал этих двоих и считал их красивой парой. Ему много пришлось перевидеть, как такие вот молодые, красивые расходились, потом сходились в новые пары и не так уж долго сохраняли свою красоту. Сейчас он думал не о них, он думал о лошади. Через полчаса можно будет послать через дорогу и справиться, не выиграла ли его лошадка.

— Отпусти меня, почему ты не сжалишься надо мной? — спросила девушка.

— А что я, по-твоему, собираюсь сделать?

В кафе вошли двое и остановились у стойки.

— Слушаю, сэр, — сказал бармен, приняв заказ.

— И ты не можешь простить меня? Когда все знаешь? — спросила девушка.

— Нет.

— По-твоему, все, что между нами было, все, что мы с тобой испытали, не научило нас понимать?

— Порока мерзостную харю, — с горечью сказал молодой человек, — та-та-та-та когда узришь. Потом что-то там еще и та-та в объятия заключишь. — Всех слов он не помнил. — Я не силен в цитатах.

— Почему же порок? — сказала она. — Невежливо так говорить.

— Извращение, — сказал он.

— Джеймс, — обратился к бармену один из вошедших. — Ты прекрасно выглядишь.

— Вы сами прекрасно выглядите, — сказал бармен.

— Старина Джеймс, — сказал другой. — Ты толстеешь, Джеймс.

— Так меня разносит, — сказал бармен, — страшное дело!

— Не забудь подлить коньяка, Джеймс, — сказал первый.

— Что вы, сэр, — сказал бармен. — Можете не сомневаться.

Двое у стойки посмотрели на тех двоих за столиком, потом опять на бармена. В этом направлении смотреть было спокойнее.

— Я тебя все-таки прошу не говорить таких слов, — сказала девушка. — Такие слова ни к чему.

— Как же прикажешь это называть?

— А никак не надо. Не надо давать этому название.

— Так это называется.

— Нет, — сказала она. — Мы слеплены из разных кусочков. Ты это знал. И пользовался этим, сколько хотел.

— Этого можешь не повторять.

— Я хочу, чтобы тебе было понятнее.

— Ну, хорошо, — сказал он. — Хорошо.

— Говоришь, хорошо, а думаешь, плохо. Да, я знаю. Это плохо. Но я вернусь к тебе. Я же сказала, что вернусь. Вот сейчас вернусь.

— Нет, не вернешься.

— Вернусь.

— Нет, не вернешься. Во всяком случае, не ко мне.

— Вот увидишь.

— Да, — сказал он. — В том-то и весь ужас. Очень может быть, что и вернешься.

— Конечно, вернусь.

— Тогда уходи.

— Правда? — Она не поверила ему, но голос у нее был радостный.

— Уходи. — Он сам не узнал своего голоса. Он смотрел на нее, на извилину ее губ и на линию скул, на ее глаза и на то, как у нее были откинуты волосы со лба, и на кончик ее уха, и на шею.

— Нет, правда, можно? Какой ты милый, — сказала она. — Какой ты добрый.

— А когда вернешься, все мне подробно расскажешь. — Голос у него звучал странно. Он сам не узнал своего голоса. Она быстро взглянула на него. Что-то в нем устоялось.

— Ты хочешь, чтобы я ушла? — серьезно проговорила она.

— Да, — серьезно проговорил он. — Сейчас уходи. Сию же минуту. — Голос у него был чужой и во рту пересохло. — Немедленно, — сказал он.

Она встала и быстро пошла к двери. Она не оглянулась. Он смотрел ей вслед. До того как он сказал «уходи», лицо у него было совсем другое. Он поднялся из-за столика, взял оба чека и подошел с ними к стойке.

— Меня будто подменили, Джеймс, — сказал он бармену. — Перед тобой уже не тот человек.

— Да, сэр? — сказал Джеймс.

— Порок, — сказал загорелый молодой человек, — очень странная вещь, Джеймс. — Он выглянул за дверь. Он увидел, как она идет по улице. Поймав свое отражение в стекле, он увидел, что его действительно будто подменили. Двое у стойки подвинулись, освобождая ему место.

— Что верно, то верно, сэр, — сказал Джеймс.

Те двое подвинулись еще немного, чтобы ему было удобнее. Молодой человек увидел себя в зеркале за стойкой.

— Я говорю, меня будто подменили, Джеймс, — сказал он. Глядя в зеркало, он убедился, что это так и есть.

— Вы прекрасно выглядите, сэр, — сказал Джеймс. — Наверно, хорошо провели лето.

*Переводчик: Н. Волжина*

## 6. Какими вы не будете

Атака развертывалась по лугу, была приостановлена пулеметным огнем с дорожной выемки и с прилегающих строений, не встретила отпора в городе и закончилась на берегу реки. Проезжая по дороге на велосипеде и временами соскакивая, когда полотно было слишком изрыто, Николас Адамс понял, что происходило здесь, по тому, как лежали трупы.

Они лежали поодиночке и вповалку, в высокой траве луга и вдоль дороги, над ними вились мухи, карманы у них были вывернуты, и вокруг каждого тела или группы тел были раскиданы бумаги.

В траве и в хлебах вдоль дороги, а местами и на самой дороге было брошено много всякого снаряжения: походная кухня, — видимо, ее подвезли сюда, когда дела шли хорошо; множество ранцев телячьей кожи; ручные гранаты, каски, винтовки — кое-где прикладом вверх, а штык воткнут в грязь: в конце концов здесь принялись, должно быть, окапываться; ручные гранаты, каски, винтовки, шанцевый инструмент, патронные ящики, ракетные пистолеты с рассыпанными вокруг патронами, санитарные сумки, противогазы, пустые коробки от противогазов; посреди кучи пустых гильз — приземистый трехногий пулемет, с выкипевшим пустым кожухом, с исковерканной казенной частью и торчащими из ящиков концами лент, трупы пулеметчиков в неестественных позах, и вокруг в траве все те же бумаги.

Повсюду молитвенники, групповые фотографии, на которых пулеметный расчет стоит навытяжку и осклабясь, как футбольная команда на снимке для школьного ежегодника; теперь, скорчившиеся и раздувшиеся, они лежали в траве; агитационные открытки, на которых солдат в австрийской форме опрокидывал на кровать женщину: рисунки были весьма экспрессивные и приукрашенные, и все на них было не так, как бывает на самом деле, когда женщины закидывают на голову юбки, чтобы заглушить ее крик, а кто-нибудь из приятелей сидит у нее на голове. Такого рода открыток, выпущенных, должно быть, накануне наступления, было множество. Теперь они валялись вперемешку с порнографическими открытками; и тут же были маленькие снимки деревенских девушек работы деревенского фотографа; изредка карточка детей и письма, письма, письма. Вокруг мертвых всегда бывает много бумаги, так было и здесь после этой атаки.

Эти были убиты недавно, и никто еще ничего не тронул, кроме

карманов. Наших убитых, отметил Ник, или тех, о ком он все еще думал как о наших убитых, было до странности мало. У них тоже мундиры были расстегнуты и карманы вывернуты, и по их положению можно было судить, как и насколько умело велась атака. От жары все одинаково раздулись, независимо от национальности.

Ясно было, что в конце боя город обороняли только огнем с дорожной выемки и почти некому из австрийцев было отступать в город. На улице лежало только три австрийца, видимо, подстреленных на бегу. Дома вокруг были разрушены снарядами, и улица вся завалена штукатуркой и мусором, и повсюду исковерканые балки, битая черепица и много пробоин, некоторые с желтой каемкой от горчичного газа. Земля была вся в осколках, а щебень усеян шрапнелью. В городе не было ни души.

Ник Адамс не встретил никого от самого Форначи, хотя, проезжая по густо заросшей низине и заметив, как струится воздух над листьями, там, где солнце накаляло металл, он понял, что слева от дороги — орудия, скрытые тутовой листвой. Потом он проехал улицей, удивляясь тому, что город пуст; и выбрался на нижнюю дорогу, проходившую под откосом берега, у самой воды. На окраине был большой открытый пустырь, по которому дорога шла под гору, и Нику видна была спокойная поверхность реки, широкий изгиб противоположного низкого берега и белая полоска высохшего ила перед линией австрийских окопов. С тех пор как он был здесь в последний раз, все стало очень сочным и чрезмерно зеленым, и то, что место это вошло в историю, ничуть его не изменило: все то же низовые реки.

Батальон расположился вдоль берега влево. В откосе высокого берега были вырыты ямы, и в них были люди. Ник заметил, где находятся пулеметные гнезда и где стоят в своих станках сигнальные ракеты. Люди в ямах на береговом склоне спали. Никто его не окликнул. Ник пошел дальше, но когда он обогнул высокий илистый намыв, на него навел пистолет молодой лейтенант с многодневной щетиной и налитыми кровью воспаленными глазами.

— Кто такой?

Ник ответил.

— А чем вы это докажете?

Ник показал ему свою tessera; удостоверение было с фотографией и печатью Третьей армии. Лейтенант взял ее.

— Это останется у меня.

— Ну, нет, — сказал Ник. — Отдайте пропуск и уберите вашу пушку. Туда. В кобуру.

— Но чем вы мне докажете, кто вы такой?

— Мало вам тессеры?

— А вдруг она подложная? Дайте ее сюда.

— Не валяйте дурака, — весело сказал Ник. — Отведите меня к вашему ротному.

— Я должен отправить вас в штаб батальона.

— Очень хорошо, — сказал Ник. — Послушайте, знаете вы капитана Паравичини? Такой высокий, с маленькими усиками, он был архитектором и говорит по-английски?

— А вы его знаете?

— Немного.

— Какой ротой он командует?

— Второй.

— Он командует батальоном.

— Превосходно, — сказал Ник. Он с облегчением услышал, что Пара невредим. — Пойдемте к батальонному.

Когда Ник выходил из города, он видел три высоких шрапнельных разрыва справа над одним из разрушенных зданий, и с тех пор обстрела не было. Но у лейтенанта было такое лицо, какое бывает у человека под ураганным огнем. Та же напряженность, и голос звучал неестественно. Его пистолет раздражал Ника.

— Уберите это, — сказал он. — Противник ведь за рекой.

— Если б я думал, что вы шпион, я пристрелил бы вас на месте, — сказал лейтенант.

— Да будет вам, — сказал Ник. — Пойдемте к батальонному. — Этот лейтенант все сильнее раздражал его.

В штабном блиндаже батальона в ответ на приветствие Ника из-за стола поднялся капитан Паравичини, замещавший майора, еще более су호чивый и англизированный, чем обычно.

— Привет, — сказал он. — Я вас не узнал. Что это вы в такой форме?

— Да вот, нарядили.

— Рад вас видеть, Николо.

— Я тоже. У вас прекрасный вид. Как воюете?

— Атака была на славу. Честное слово. Превосходная атака. Я вам сейчас покажу. Смотрите.

Он показал по карте ход атаки.

— Я сейчас из Форначи, — сказал Ник. — По дороге видел, как все это было. Атаковали хорошо.

— Атаковали изумительно. Совершенно изумительно. Вы что же,

прикомандированы к полку?

— Нет. Мне поручено разъезжать по передовой линии и демонстрировать форму.

— Вот еще выдумали.

— Воображают, что, увидев одного американца в форме, все поверят, что недолго ждать и остальных.

— А как они узнают, что это американская форма?

— Вы скажете.

— А! Понимаю. Я дам вам капрала в провожатые, и вы с ним пройдете по линии.

— Словно какой-нибудь пустобрех-министр, — сказал Ник.

— А вы были бы гораздо элегантней в штатском. Только в штатском выглядишь по-настоящему элегантным.

— В котелке, — сказал Ник.

— Или в мягкой шляпе.

— Собственно, полагалось бы набить карманы сигаретами, открыtkами и всякой чепухой, — сказал Ник. — А сумку шоколадом. И раздавать все это с шуточками и дружеским похлопыванием по спине. Ни сигарет, ни открыток, ни шоколада не оказалось. Но меня все-таки послали проследовать по линии.

— Ну конечно, стоит вам показаться, и это сразу воодушевит войска.

— Не надо, — сказал Ник. — И без того тошно. В принципе я бы охотно прихватил для вас бутылочку бренди.

— В принципе, — сказал Пара и в первый раз улыбнулся, показывая пожелтевшие зубы. — Какое прекрасное выражение. Хотите граппа?

— Нет, спасибо, — сказал Ник.

— Оно совсем без эфира.

— Этот вкус у меня до сих пор во рту, — вспомнил Ник внезапно с полной ясностью.

— Знаете, я и не подозревал, что вы пьяны, пока вы не начали болтать в грузовике на обратном пути.

— Я накачивался перед каждой атакой, — сказал Ник.

— А я вот не могу, — сказал Пара. — Я пробовал в первом деле, в самом первом деле, но меня от этого вывернуло, а потом зверски пить хотелось.

— Ну, значит, вам не надо.

— Вы же гораздо храбрее меня во время атаки.

— Нет, — сказал Ник. — Я себя знаю и предпочитаю накачиваться. Я этого ни капли не стыжусь.

— Я никогда не видел вас пьяным.

— Не видели? — сказал Ник. — Никогда? А в ту ночь, когда мы ехали из Местре в Портогранде, и я улегся спать, и укрылся велосипедом вместо одеяла, и все старался натянуть его до самого подбородка?

— Так это же не на позиции.

— Не будем говорить о том, какой я, — сказал Ник. — По этому вопросу я знаю слишком много и не хочу больше об этом думать.

— Вы пока побудьте здесь, — сказал Паравичини. — Можете прилечь, если вздумается. Эта нора прекрасно выдержала обстрел. А выходить еще слишком жарко.

— Да, торопиться некуда.

— Ну, а как вы на самом-то деле?

— Превосходно. Я в полном порядке.

— Да нет, я спрашиваю, на самом деле?

— В полном порядке. Не могу спать в темноте. Вот и все, что осталось.

— Я говорил, что нужна трепанация. Я не врач, но я знаю.

— Ну, а они решили — пусть лучше рассосется. А что? Вам кажется, что я не в своем уме?

— Почему. Вид у вас превосходный.

— Нет хуже, когда тебя признали полуумным, — сказал Ник. — Никто тебе больше не доверяет.

— Вы бы вздрогнули, Николо, — сказал Паравичини. — Это вам, конечно, не тот батальонный блиндаж, к какому мы привыкли, но мы ждем, что нас отсюда скоро перебросят. Вам не следует выходить в такую жару, — это просто глупо. Ложитесь вот сюда на койку.

— Пожалуй, прилягу, — сказал Ник.

Ник лег на койку. Он был очень огорчен тем, что ему плохо, и еще больше тем, что это так ясно капитану Паравичини. Блиндаж был меньше того, где его взвод 1899 года рождения, только что прибывший на фронт, запиховал во время артиллерийской подготовки, и Пара приказал ему выводить их наверх по двое, чтобы показать, что ничего с ними не случится, и сам он туга подтянул губы подбородным ремнем, чтобы не дрожали. Зная, что не удержаться, если бы атака не удалась. Зная, что все это просто чертова каша. Если он не перестанет нюнить, расквасьте ему нос, чтобы его малость встрихнуло. Я бы пристрелил одного для примера, но теперь поздно. Их еще пуще развезет. Расквасьте ему нос. Да, перенесено на пять двадцать. В нашем распоряжении только четыре минуты. Расквасьте нос и тому сопляку и вытолкайте его коленкой под

задницу. Как вы думаете, поднимутся они? Если нет, пристрелите двоих-троих и пострайтесь так или иначе выкурить их отсюда. Держитесь сзади, сержант. Совершенно бесполезно шагать впереди, когда никто за тобой не идет. Волоките их отсюда за шиворот, когда пойдете сами. Что за чертова каша. Так. Ну, ладно. Потом, поглядев на часы, спокойным тоном, этим веским, спокойным тоном: «Савойя». Пошел не накачавшись, не успел глотнуть, а потом где было ее искать, когда завалило, завалился весь угол, тут оно и началось; и он пошел, не глотнув, туда, вверх по склону, единственный раз, когда шел не накачавшись. А когда вернулись обратно, оказалось, что головной госпиталь горит и кое-кого из раненых через четыре дня отправили в тыл, а некоторых так и не отправили, и мы снова ходили в атаку и возвращались обратно и отступали, — неизменно отступали. И, как ни странно, там была Габи Делис, вся в перьях, ты называл меня своею год назад, та-ра-ра-ра, ты говорил, меня обнять всегда ты рад, та-ра-ра-ра, и в перышках, да и без них, Габи всегда прекрасна; а меня зовут Гарри Пильцер, мы с вами, бывало, вылезали из такси на крутом подъеме на холм; и каждую ночь снился этот холм и еще снилась Сакре-Кер, вздутая и белая, словно мыльный пузырь. Иногда с ним была его девушка, а иногда она была с кем-нибудь другим, и это трудно было понять, но вспоминалось это ночами, когда река текла неузнаваемо широкая и спокойная, и там, за Фоссалтьой, на берегу канала был низкий, выкрашенный в желтое дом, окруженный ивами, и с длинной низкой конюшней; он бывал там тысячу раз и никогда не замечал этого, а теперь каждую ночь все это было так же четко, как и холм, только это пугало его. Этот дом был важнее всего, и каждую ночь он ему снился. Именно этого он и хотел, но это пугало его, особенно когда лодка спокойно стояла там между ивами, у берега канала, но берега были не такие, как у этой реки. Они были еще ниже, как у Портогранде, там, где те переправлялись через затопленную луговину, барахтаясь и держа над головой винтовки, да так и ушли под воду вместе с винтовками. Кто отдал такой приказ? Если бы не эта чертова путаница в голове, он прекрасно бы во всем разобрался. Вот почему он пробовал запомнить все до последней черточки и держать все в строгом порядке, так, чтобы всегда знать, что к чему, но вдруг, безо всякой причины, все спутывалось, вот как сейчас, когда сам он лежит на койке в батальонном блиндаже, и Пара командир батальона, а тут еще на нем эта проклятая американская форма. Он привстал и огляделся; все на него смотрели. Пара куда-то вышел. Он снова лег.

Начиналось всегда с Парижа, и это не пугало его, разве только, когда она уходила с кем-нибудь другим или когда было страшно, что им два раза

попадется один и тот же шофер. Только это его и пугало. А фронтовое нет. Теперь он никогда больше не видел фронта; но что пугало его, от чего он никак не мог избавиться, — это желтый длинный дом и не та ширина реки. Вот он опять здесь, у реки, он проехал через тот самый город, а дома этого не было. И река другая. Так где же он бывает каждую ночь, и в чем опасность, и почему он каждый раз просыпается весь в поту, испуганный больше, чем под любым обстрелом, все из-за этого дома, и низкой конюшни, и канала?

Он привстал, осторожно спустил ноги; они деревенели, если он долго держал их вытянутыми; посмотрел на глядевших на него сержанта и сигнальщиков и двух ординарцев у двери и надел свою каску в матерчатом чехле.

— Очень сожалею, что у меня нет с собой шоколада, открытоя, сигарет, — сказал он. — Но форма-то все-таки на мне.

— Майор сейчас вернется, — сказал сержант.

— Форма не совсем точная, — сказал им Ник. — Но представление она дает. Скоро здесь будет несколько миллионов американцев.

— Вы думаете, что к нам прибудут американцы? — спросил сержант.

— Несомненно. И какие американцы — вдвое выше меня ростом, здоровые, приветливые, спят по ночам, никогда не были ни ранены, ни контужены, ни завалены землей; не трусят, не пьют, верны своим девушкам, многие даже не знают, что такое вошь, — замечательные ребята, вот увидите.

— А вы итальянец? — спросил сержант.

— Нет, американец. Взгляните на форму. Шил ее Спаньолини, но только она не совсем точная.

— Северо- или южноамериканец?

— Северо, — сказал Ник. Он чувствовал, что опять начинается. Надо поменьше говорить.

— Но вы говорите по-итальянски.

— Ну так что же? Вам не нравится, что я говорю по-итальянски? Разве я не имею права говорить по-итальянски?

— У вас итальянские медали.

— Только ленточки и документы. Медали присылают потом. Или дашь их кому-нибудь на сохранение, а тот уедет, или они пропадут вместе со всеми вещами. Впрочем, можно купить новые в Милане. Важно, чтобы были документы. И вы не расстраивайтесь. Вам тоже дадут медали, когда вы подольше побудете на фронте.

— Я ветеран Эритрейской кампании, — сухо сказал сержант. — Я

сражался в Триполи.

— Очень рад с вами познакомиться. — Ник протянул руку. — Должно быть, не легкая была кампания. Я сразу заметил нашивки. Вы, может быть, и на Карсо были?

— Меня только что призвали в эту войну. Мой разряд слишком стар.

— Еще не так давно я был слишком молод, — сказал Ник. — А теперь я уже готов, не гожусь больше.

— А что же вы здесь делаете?

— Демонстрирую американскую форму, — сказал Ник. — Что, поващему, это не дело? Она немного жмет в вороте, но вы увидите, скоро миллионы одетых в эту форму налетят сюда, как саранча. Кузнецик, — вы знаете, то, что мы в Америке называем кузнециком, — это та же саранча. Настоящий кузнецик маленький, зеленый и довольно слабенький. Его не надо смешивать с саранчой или цикадой, которая издает характерный, непрерывный звук, сейчас только я не могу вспомнить какой. Стараюсь вспомнить и не могу. Мне уже кажется, что я его слышу, а потом он ускользает. Вы меня извините, но я прерву наш разговор.

— Поди-ка отыщи майора, — сказал сержант одному из ординарцев. — Видно, вы были серьезно ранены, — сказал он Нику.

— В разные места, — сказал Ник. — Если вас интересуют шрамы, я могу показать вам очень интересные, но я предпочитаю поговорить о кузнециках. То есть о том, что мы называем кузнециками, а на самом деле это саранча. Это насекомое одно время занимало большое место в моей жизни. Возможно, вам это тоже будет интересно, а пока я говорю, вы можете изучать мою форму.

Сержант сделал знак второму ординарцу, и тот вышел.

— Смотрите внимательней на форму. Ее, знаете, шил Спаньолини. И вы тоже можете любоваться, — сказал Ник сигнальщикам. — У меня, видите ли, нет никакого чина. Мы стоим в ведении американского консула. Глазейте, не стесняйтесь. А я вам расскажу об американской саранче. Мы всегда предпочитали один вид, который мы называли коричневая средняя, она меньше всех размокает в воде, и рыба лучше всего идет на нее. А у тех, что побольше, которые летают и производят при этом звук, несколько напоминающий гремучую змею, когда она гремит своими гремучками, — очень сухой звук, — у них крылья ярко окрашены, иногда красные, иногда желтые с черными полосами, но их крылья совсем расползаются в воде, и наживка из них плохая, а вот коричневые средние — это плотные, жирные, восхитительные кузнецы, которых я могу рекомендовать вашему вниманию, джентльмены, если только возможно

рекомендовать вниманию джентльменов то, что они, по всей вероятности, никогда не встретят. Но я со всей настоятельностью должен подчеркнуть, что вы никогда не соберете запаса этих насекомых, достаточного для дневной ловли, если будете хватать их руками или сшибать битой. Это сущая чепуха и пустая трата времени. Повторяю вам, джентльмены, так у вас ровно ничего не получится. Единственный правильный способ, способ, которому следовало бы обучать всех молодых офицеров во всех стрелковых школах, это, — если бы меня спросили об этом, а очень возможно, что меня об этом и спросят, — это применение сети или невода из обыкновенной комариной сетки. Два офицера, держа кусок сети такой вот длины за противоположные концы, или, скажем, стоя по одному у каждого конца, наклоняются, берут нижний край сети в одну руку, а верхний в другую и бегут против ветра. Кузнецы, летя по ветру, натыкаются на этот кусок сети и застревают в ней. Таким способом каждый может наловить огромное количество кузнецов, и, по моему мнению, каждый офицер должен быть снабжен куском комариной сетки достаточной длины, пригодным для изготовления подобной саранчовой сети. Надеюсь, я понятно изложил этот способ, джентльмены? Есть вопросы? Если что-нибудь в коем изложении вам представляется неясным, пожалуйста, задавайте вопросы. Я слушаю. Нет вопросов? Тогда я хотел бы прибавить в заключение следующее. Говоря словами великого полководца и джентльмена сэра Генри Уильсона: джентльмены, одно из двух: повелевать будете вы, или повелевать будут вами. Разрешите мне повторить. Джентльмены, мне хотелось бы, чтобы вы твердо это запомнили. Твердо запомнили и унесли с собой, уходя из этого зала. Джентльмены, одно из двух: повелевать будете вы, или повелевать будут вами. Я кончил, джентльмены. Позвольте пожелать вам всего хорошего.

Он снял каску в матерчатом чехле, снова надел ее и, пригнувшись, вышел в низкую дверь блиндажа. Паравичини в сопровождении обоих ординарцев приближался со стороны дорожной выемки. На солнце было очень жарко, и Ник снял каску.

— Надо бы придумать систему водяного охлаждения для этих уродин, сказал он. — Ну, а свою я искупаю в реке. — Он стал взбираться на парапет.

— Николо, — окликнул его Паравичини. — Николо! Куда вы идете?

— Да, собственно, и не стоитходить. — Ник спустился обратно, держа каску в руках. — Что сухая, что мокрая, один черт. Неужели вы свою никогда не снимаете?

— Никогда, — сказал Пара. — Я уже начинаю от нее лысеть. Пойдем в

блиндаж.

В блиндаже Пара усадил его.

— От них ведь никакого проку, — сказал Ник. — Помню, как мы были рады, когда их только что выдали, но с тех пор я слишком часто видел их полными мозгов.

— Николо, — сказал Пара, — по-моему, вам бы надо отправляться обратно. По-моему, пока вас не снабдят всем, что нужно, вам незачем сюда ездить. Вам здесь нечего делать. Если вы будете ходить по линии, даже раздавая что-нибудь стоящее, неизбежно скопление, которое вызовет обстрел. Этого я не могу допустить.

— Я знаю, что это глупо, — сказал Ник. — Это не моя выдумка. Я услышал, что здесь наша бригада, ну и подумал, хорошо бы повидать вас или еще кого-нибудь из прежних. Я мог бы отправиться в Зензон или в Сан-Дона. Мне бы хотелось пробраться в Сан-Дона и поглядеть мост.

— Я не могу разрешить вам разгуливать здесь без толку, — сказал капитан Паравичини.

— Ну, ладно, — сказал Ник. Он чувствовал, что это снова начинается.

— Вы меня понимаете?

— Конечно, — сказал Ник. Он старался подавить это.

— Такие обходы надо делать ночью.

— Без сомнения, — сказал Ник. Он чувствовал, что не сможет удержаться.

— Я ведь теперь батальоном командую, — сказал Пара.

— А почему бы вам и не командовать? — сказал Ник. Вот оно. — Читать, писать умеете?

— Разумеется, — мягко сказал Пара.

— Только вот батальон-то у вас невелик. Как только его пополнят, вам опять дадут вашу роту. Почему не хоронят убитых? Я только что видел их. Мне вовсе не хочется опять на них глядеть. Хоронить их можно в любое время, я не возражаю, и чем скорее, тем лучше для вас же. А то потом намаешьесь.

— Где вы оставили велосипед?

— В последнем доме.

— Думаете, он там уцелеет?

— Не беспокойтесь, — сказал Ник. — Я скоро пойду.

— Вы прилягте, Николо.

— Спасибо.

Он закрыл глаза и вместо бородатого человека, который смотрел на него сквозь прицельную рамку винтовки, придерживая дыхание перед тем,

как нажать спуск, и белой вспышки и удара как будто дубиной, когда на коленях, давясь сладким горячим клубком, который он выхаркнул на камень, он понял, что они пробежали мимо, — он увидел желтый низкий дом с длинной конюшней и реку гораздо шире и спокойнее, чем на самом деле.

— Ах, черт, — сказал он. — Пожалуй, надо идти.

Он встал.

— Я пойду, Пара, — сказал он. — Поеду назад. Если там подвезли чего-нибудь, я захвачу и привезу вам сегодня вечером. Если нет, приеду ночью, когда будет что везти.

— Еще жарко вам ехать, — сказал капитан Паравичини.

— Не беспокойтесь, — сказал Ник. — Теперь на некоторое время я застрахован. Меня тут у вас скрутило, но это быстро прошло. Теперь с каждым разом все легче. Я уже знаю, когда это начинается, я тогда становлюсь болтлив.

— Я пошлю с вами ординарца.

— Нет, не надо. Я знаю дорогу.

— Так, значит, скоро опять к нам?

— Непременно.

— Давайте, я все-таки...

— Нет, — сказал Ник. — В знак доверия.

— Ну, как хотите.

— Ciao, — сказал Ник. Он пошел назад по дорожной выемке, туда, где он оставил велосипед. К вечеру, как только он минует канал, дорога будет в тени. За каналом по обеим сторонам дороги деревья совсем не тронуты снарядами. Именно на этом участке как-то раз им встретились на походе кавалеристы Третьего савойского полка. С пиками, по снегу. Дыхание лошадей поднималось султанами в морозном воздухе. Нет, это было не здесь. Где же это было?

— Только бы мне добраться до этого чертова велосипеда, — сказал себе Ник. — А то еще заблудишься и не попадешь в Форначи.

*Переводчик: И. Кашкин*

## 7. Мать красавчика

Когда у него умер отец, он был совсем еще зеленый и его менеджер похоронил покойника навечно, то есть обеспечил за ним постоянное место на кладбище. Но когда и мать умерла, менеджер сообразил, что не всегда же им амуриться. Ведь у них была любовь, да, он из таких, этот красавчик Пако, вы разве не знаете? Ну еще бы, конечно, из таких. И менеджер решил похоронить его мать только на пять лет.

Так вот, вернулся он в Мексику из Испании и сразу получил первое уведомление. Там было сказано, что это первое уведомление: дескать, пять лет на исходе, и не соблаговолит ли он распорядиться должным образом, чтобы продлить срок сохранения материнской могилы. За постоянное место требовалось внести всего двадцать долларов. Касса хранилась тогда у меня, и я сказал, поручи это мне. Но он сказал — нет, он сам об этом позаботится. Позаботится сам, и немедленно. Мать-то его, и он хочет сам все сделать.

Через неделю пришло второе уведомление. Я прочитал его вслух и говорю, я думал, ты уже позаботился об этом. Нет, говорит, еще нет.

— Давай я все сделаю, — сказал я. — Вот они, денежки, у меня.

Нет, сказал он. Нечего ему указывать. Он сам об этом позаботится, когда руки дойдут. Какой смысл тратить деньги раньше времени.

— Ладно, — сказал я. — Только смотри не забудь. — У него тогда был контракт на шесть боев по четыре тысячи песо каждый, да еще бенефис. В одной только столице он заработал больше пятнадцати тысяч долларов. Скарбон он был, вот и все.

Третье уведомление пришло еще через неделю, и я опять прочитал его вслух. Там было сказано, что, если он не внесет до субботы, могилу его матери разроют и останки ее выбросят на общую свалку костей. Он сказал, что займется этим в тот же день, когда поедет в город.

— Почему ты мне не поручишь? — спросил я.

— Не суйся куда не надо, — сказал он. — Это мое дело, и я сам этим займусь.

— Ладно, когда так, — сказал я. — Делай свои дела сам.

Он взял сколько было нужно денег из кассы, хотя в те времена у него в кармане всегда лежала сотня песо, а то и больше, и сказал, что сам этим займется. И ушел с деньгами, и я, конечно, думал, что дело сделано.

Неделю спустя оттуда написали, что, поскольку ответа на их

окончательное предупреждение не поступило, останки его матери выбросили на свалку костей — на общую свалку.

— Господи помилуй! — сказал я ему. — Ты же собирался заплатить, взял на это деньги из кассы, и что же теперь стало с твоей матерью! Подумать только! Общая свалка костей, и там твоя мать! Почему ты мне не поручил? Я бы сразу после первого уведомления выслал.

— Это не твое дело. Мать — она моя мать.

— Верно, дело не мое, это твое дело. Но какая же у человека кровь в жилах, если он допустил такое со своей матерью? Не заслужил ты, чтобы у тебя мать была.

— Это моя мать, — сказал он. — Теперь она мне еще дороже. Теперь мне не надо думать, что она похоронена там-то и там-то, и горевать. Теперь она вокруг меня, в воздухе, как птицы и как цветы. Теперь моя мать всегда будет со мной.

— Господи помилуй! — сказал я. — Какая же у тебя кровь в жилах? Ты больше и разговаривать со мной не смей.

— Она всюду при мне, — сказал он. — Теперь я не буду о ней горевать.

В те времена он крутился около женщин и тратил на них уйму денег, все старался казаться настоящим мужчиной и думал, что проведет этим кого-нибудь, но на тех, кто его знал, это нисколько не действовало. Мне он задолжал шестьсот с лишним песо и никак не хотел расплатиться.

— Зачем тебе сейчас деньги? — говорил он. — Неужели ты не доверяешь мне? Мы же с тобой друзья.

— Друзья не друзья, доверяю не доверяю — не в этом дело, а в том, что, пока тебя не было, я за все платил из своего кармана, и теперь эти деньги мне нужны, и у тебя есть чем расплатиться.

— Нет у меня сейчас ничего.

— Нет, есть, — сказал я. — Вот они, в кассе, отсюда и возьмешь.

— Эти деньги мне нужны на другое, — сказал он. — Ты не знаешь, какие у меня расходы.

— Я здесь все время сидел, пока ты был в Испании, и ты сам велел мне платить по всем счетам, что приходили из магазинов, а денег ни разу не прислал, и у меня ушло шестьсот с лишним песо моих кровных, а теперь деньги мне нужны и расплатиться со мной ты можешь.

— Скоро расплачусь, — сказал он. — Сейчас они мне самому позарез нужны.

— На что?

— Мало ли у меня какие дела.

— Ну, хотя бы часть отдай.

— Нет, не могу, — сказал он. — Мне деньги прямо-таки позарез нужны. Но я отдам.

В Испании он выступал всего два раза, ему там ходу не дали, моментально его раскусили, а он сшил себе семь костюмов для арены, и ведь что за человек: упаковал все кое-как, и на обратном пути четыре костюма так подмочило морской водой, что и надеть нельзя.

— О Господи! — сказал я ему. — Ты едешь в Испанию. Торчишь там весь сезон, а выступаешь всего два раза. Все деньги, что взял с собой, тратишь на костюмы, и не потрудишься даже уберечь их от морской воды, и никогда эти костюмы не наденешь. Вот как у тебя прошел сезон, а теперь ты мне заявляешь, что сам со своими делами управишься. Тогда отдай деньги, и я с тобой распрощаюсь.

— Нет, ты мне понадобишься, — сказал он. — И я все тебе отдам. Но сейчас мне деньги самому нужны.

— Уж так нужны, что и за материнскую могилу не мог заплатить, чтобы твоей матери было где покоиться. Значит, нужны, говоришь? — сказал я.

— Я очень рад, что с матерью так все получилось, — сказал он. — Тебе этого не понять.

— И слава Богу, — сказал я. — Расплатись, или я сам из кассы возьму.

— Теперь касса будет у меня, — сказал он.

— Нет, не будет, — сказал я.

В тот же самый день он явился ко мне с каким-то подонком — молодчиком из его родного города, без гроша в кармане, и сказал: «Вот этому пейсану нужны деньги на проезд домой, потому что у него мать тяжело заболела».

Понимаете? Какой-то подонок, он его раньше и в глаза не видел, но земляк! Надо же перед ним покрасоваться — как же, знаменитый матадор, староватый, не поскупится ради земляка!

— Дай ему пятьдесят песо из кассы, — велел он мне.

— Ты же только что говорил, будто тебе нечем со мной расплатиться, — сказал я. — А теперь хочешь дать пятьдесят песо этому подонку?

— Мы с ним земляки, — сказал он, — и у него тяжелое положение.

— Сука ты, — сказал я и бросил ему ключ от кассы. — Сам давай. Я еду в город.

— А ты не кипятись, — сказал он. — Я с тобой расплачусь.

Я собрался в город и вывел машину. Машина была его собственная, но

он знал, что я вожу лучше. У меня все получалось лучше, чем у него. Он знал это. Он даже читать-писать не умел. Мне надо было кое с кем повидаться в городе и выяснить, можно ли его заставить вернуть долг. Он вышел и сказал:

— Я тоже поеду. И я тебе все верну. Мы же друзья. Зачем намссориться.

Мы поехали в город, и машину вел я. Только въехали, он сует мне двадцать песо. Вот, говорит, возьми.

— Ах ты сука безродная! — сказал я и посоветовал, куда ему девать эти деньги. — Какому-то подонку даешь пятьдесят песо, а мне двадцать, когда твоего долга шестьсот с лишним. Я и цента из твоих рук не приму. Сунь их знаешь куда?

Я вышел из машины, а у самого пусто в кармане, и где ночевать, неизвестно. Потом попозже в тот же день поехал с одним приятелем и забрал из дома все свои вещи. С тех пор и вот до нынешнего года я с ним и слова не сказал. А тут как-то вечером встретил его с двумя дружками по дороге в кино «Каллао» на Гран-Виа в Мадриде. Он ко мне с ручкой.

— А, Роджер! Здравствуй, дорогой! Ну, как поживаешь? Я слыхал, ты про меня нехорошее говоришь. Всякую небылицу.

— Если я говорю, так только одно — что у тебя матери сроду не было. — Это самое худшее оскорбление для мужчины, какое только есть по-испански.

— Что правда, то правда, — сказал он. — Я был такой маленький, когда моя бедная мамочка умерла, что у меня ее будто и не было. И это очень грустно.

Вот вам, какие они, эти красавчики. Их не проймешь. Ну, ничем не проймешь. Деньги они тратят только на себя или на всякую показуху, а долгов не платят. Попробуйте, получите с такого. Я ему все выложил, что я о нем думаю, прямо там, на Гран-Виа, в присутствии трех его дружков, но теперь при встречах он со мной разговаривает, будто мы с ним закадычные друзья.

Какая же у них кровь в жилах, у таких вот красавчиков?

*Переводчик Н. Волжина*

## 8. Пишет читательница

Она сидела у себя в спальне за столиком, разложив перед собой газету, и только изредка поглядывала в окно на падающий снег, который сразу же таял, ложась на крышу. Она писала вот это письмо — писала набело, не видя необходимости что-либо вычеркивать или исправлять.

*Роунок, Виргиния.*

*6 февраля 1933 г.*

Дорогой доктор, позвольте обратиться к Вам за советом по важному для меня делу, — мне надо прийти к какому-то решению, и я не знаю, на кого можно больше всех положиться, родителей спрашивать я не смею, и вот пишу Вам — и даже Вам признаюсь только потому, что это можно сделать заглазно. Так вот как все обстоит. Я вышла замуж за военнослужащего США в 1929 году, и в тот же год его услали в Шанхай в Китае. Он пробыл там три года и вернулся — его демобилизовали несколько месяцев назад — и поехал к своей матери в Хелену, штат Арканзас. Он мне написал, чтобы я тоже туда выехала, я приехала и узнаю, что он проходит курс лечения уколами, и я, конечно, спросила, и оказывается, его лечат от... не знаю, как это слово пишется, но на слух вроде «си.филлюс». Вы, наверно, понимаете, о чем я говорю. Так вот, скажите, не опасно ли мне будет жить с ним, — у нас ни разу ничего не было с тех пор, как он вернулся из Китая. Он меня уверяет, что все наладится, когда врач кончит его лечить. Как Вы считаете, правда ли это, — я помню, мой отец часто говорил, что лучше умереть, чем стать жертвой этой болезни. Отцу я верю, но мужу своему хочу верить еще больше. Умоляю Вас, скажите, что мне делать, — у меня дочь, которая родилась, когда ее отец был в Китае.

Заранее Вас благодарю и всецело полагаюсь на Ваш совет. С уважением...

И она поставила свою подпись.

Может, он скажет, как мне быть, думала она. Может, все-таки скажет. Судя по портрету в газете, он должен это знать. Лицо такое умное. Наверно, каждый день дает людям советы. Такой должен знать. Я хочу поступить,

как надо. Но так долго ждать! Так долго! А сколько я уже ждала. Господи! Сколько же можно ждать! Он должен был ехать, куда бы ни послали, знаю, знаю. Но почему такое должно было случиться с ним? Почему, Господи? Что бы он там ни сделал, зачем это с ним случилось? Господи, зачем, зачем? Ведь не обязательно ему было схватить это. Как же мне быть? Не хочу, чтобы он болел. Зачем он этим болеет?

*Переводчик Н. Волжина*

## 9. Посвящается Швейцарии

### I. РАЗВЛЕЧЕНИЯ МИСТЕРА УИЛЕРА В МОНТРЕ

В буфете на станции было тепло и светло. Тщательно вытертые деревянные столики блестели; на них стояли корзинки с соленым печеньем в бумажных пакетиках. Стулья были резные, с залоснившимися от времени, но удобными сиденьями. На стене висели резные деревянные часы, а в глубине комнаты была буфетная стойка. За окном шел снег.

За столиком под часами двое носильщиков пили молодое вино. Вошел третий носильщик и сказал, что восточно-симплонский экспресс идет из Сен-Мориса с часовым опозданием. Сказав это, он вышел. К столику мистера Уилера подошла кельнерша.

— Экспресс на час опаздывает, сэр, — сказала она. — Может быть, выпьете кофе?

— А вы не думаете, что это не даст мне уснуть?

— Простите? — переспросила кельнерша.

— Принесите кофе, — сказал мистер Уилер.

— Пожалуйста, сэр.

Она принесла кофе из кухни, а мистер Уилер повернулся к окну и стал смотреть, как падает снег на освещенную платформу.

— Вы говорите еще на каких-нибудь языках, кроме английского? — спросил он кельнершу.

— Как же, сэр! Говорю по-немецки, по-французски и на местных диалектах.

— Хотите что-нибудь выпить?

— Нет, что вы, сэр! Нам не разрешается пить с посетителями.

— Может быть, сигару?

— Нет, что вы, сэр! Я не курю, сэр.

— Это хорошо, — сказал мистер Уилер. Он снова посмотрел в окно, выпил кофе и закурил сигарету.

— Fraulein, — позвал он. Кельнерша подошла к столику.

— Что вы желаете, сэр?

— Вас, — сказал он.

— Что за шутки, сэр!

— Я не шучу.

— Тогда не надо говорить такие вещи.

— Не будем терять времени, — сказал мистер Уилер. — До прихода поезда осталось сорок минут. Если вы подниметесь со мной наверх, я дам вам сто франков.

— Как можно говорить такие вещи, сэр! Я позову носильщика.

— Носильщик мне не нужен, — сказал мистер Уилер. — Ни носильщики, ни полицейские, ни разносчики сигарет мне не нужны. Мне нужны вы.

— Если вы не перестанете, сэр, вам придется уйти отсюда. Здесь нельзя вести такие разговоры.

— Зачем же вы тут стоите? Если б вы тут не стояли, я не мог бы разговаривать с вами.

Кельнерша отошла. Мистер Уилер следил, подойдет ли она к носильщикам. Она не подошла.

— Mademoiselle! — позвал он. Кельнерша вернулась. — Бутылку сионского, пожалуйста.

— Сейчас, сэр.

Мистер Уилер смотрел ей вслед. Когда она вернулась и поставила вино на столик перед ним, он взглянул на часы.

— Я вам дам двести франков, — сказал он.

— Пожалуйста, оставьте это, сэр.

— Двести франков — большие деньги.

— Перестаньте сказать такие вещи. — От волнения кельнерша стала путать слова чужого языка. Мистер Уилер смотрел на нее с интересом.

— Двести франков.

— Какой вы противный.

— Зачем же вы тут стоите? Если б вас тут не было, я не мог бы говорить с вами.

Кельнерша отошла и направилась к стойке. Мистер Уилер пил вино и улыбался про себя.

— Mademoiselle! — позвал он немного погодя.

Кельнерша сделала вид, что не слышит.

— Mademoiselle! — позвал он снова.

Кельнерша подошла.

— Вам что-нибудь нужно?

— Очень даже. Я вам дам триста франков.

— Вы противный.

— Триста швейцарских франков.

Она ушла. Мистер Уилер смотрел ей вслед. В дверях показался

носильщик. Это был тот, которому мистер Уилер поручил свой багаж.

— Поезд подходит, сэр, — сказал он по-французски. Мистер Уилер встал.

— Mademoiselle! — позвал он. Кельнерша подошла к столу. — Сколько с меня за вино?

— Семь франков.

Мистер Уилер отсчитал восемь франков и положил их на стол. Потом надел шляпу, пальто и вышел вслед за носильщиком на платформу, где по-прежнему падал снег.

— Au revoir, mademoiselle! — сказал он. Кельнерша оглядела ему вслед. "Вот урод, — подумала она. — Урод, да еще какой противный. Триста франков за такой пустяк. Сколько раз я это делала даром. Да и негде тут. Если б у него хоть капля соображения была, он бы понял, что тут негде. И негде и некогда. Триста франков. Ну и чудаки эти американцы".

Стоя на асфальте платформы возле своих чемоданов, сквозь хлопья снега глядя на огни приближающегося паровоза, мистер Уилер думал о том, что развлечение обошлось ему очень недорого. Кроме обеда, он истратил всего лишь семь франков на вино и франк на чаевые. Хватило бы семидесяти пяти сантимов. Жаль, что он не ограничился семьюдесятью пятью сантимами.

Швейцарский франк равен пяти французским. Мистер Уилер направлялся в Париж. Он был очень расчетлив, и женщины его не интересовали. На этой станции он бывал раньше и знал, что наверху там помещений нет. Мистер Уилер никогда не рисковал.

## II. МИСТЕР ДЖОНСОН ОТКРОВЕННИЧАЕТ В ВЕВЕ

В буфете на станции было тепло и светло; тщательно вытертые столики блестели; на некоторых были скатерти в белую и красную полоску, а на других скатерти в белую и синюю полоску, и на всех стояли корзинки с соленым печеньем в бумажных пакетиках. Стулья были деревянные, резные, с залоснившимися от времени, но удобными сиденьями. На стене висели часы, в глубине была оцинкованная буфетная стойка, а за окном шел снег. За столиком под часами двое носильщиков пили молодое вино.

Вошел третий носильщик и сказал, что Восточно-симплонский экспресс идет из Сен-Мориса с часовых опозданием. К столику мистера Джонсона подошла кельнерша.

— Экспресс на час опаздывает, сэр, — сказала она. — Может быть, выпьете кофе?

— Если вас не затруднит.

— Простите? — переспросила кельнерша.

— Хорошо, дайте мне чашку кофе.

— Пожалуйста, сэр.

Она принесла кофе из кухни, а мистер Джонсон повернулся к окну и стал смотреть, как падает снег на освещенную платформу.

— Вы говорите еще на каких-нибудь языках, кроме английского? — спросил он кельнершу.

— Как же, сэр! Я говорю по-немецки, по-французски и на местных диалектах.

— Хотите что-нибудь выпить?

— Нет, что вы, сэр. Нам не разрешается пить с посетителями.

— Может быть, сигару?

— Нет, что вы, сэр. — Она рассмеялась. — Я не курю, сэр.

— Я тоже, — сказал Джонсон. — Это дурная привычка.

Кельнерша отошла от стола, а Джонсон закурил сигарету и стал пить кофе. Часы на стене показывали без четверти десять. Его часы немного спешили. Поезд должен был прийти в десять тридцать; час опоздания, — значит, он будет в одиннадцать тридцать. Джонсон подозревал кельнершу.

— Signorina!

— Что вы желаете, сэр?

— Вы бы не согласились поразвлечься со мной? — спросил Джонсон.

Кельнерша покраснела.

— Что вы, сэр!

— Я не думал ничего дурного. Вы не составили бы мне компанию — пойти посмотреть ночное Веве? Если хотите, пригласите подругу.

— Я не могу уйти отсюда, — сказала кельнерша. — Ведь я на службе.

— Я знаю, — сказал Джонсон. — Но, может быть, вы кого-нибудь поставите за себя? Во время Гражданской войны это часто делалось даже мобилизованными.

— Нет, нет, сэр. Я сама должна быть здесь.

— Где вы изучили английский язык?

— На курсах Берлица, сэр.

— Расскажите мне о них, — сказал Джонсон. — Там, должно быть, учились большие шалопаи? Приставали, наверно, с нежностями? Много среди них было франтов? Не приходилось ли вам встречать Скотта Фицджеральда?

— Простите?

— Я хотел бы знать, считаете ли вы студенческие годы лучшими в вашей жизни? А какую команду выставили курсы Берлица прошлой осенью?

— Вы шутите, сэр?

— Чуть-чуть, — сказал Джонсон. — Вы славная девушка. Так не хотите со мной поразвлечься?

— Нет, нет, сэр. Что-нибудь вам еще подать, сэр?

— Да, — сказал Джонсон. — Принесите мне, пожалуйста, карту вин.

— Сию минуту, сэр.

С карточкой в руке Джонсон направился к столу, за которым сидели носильщики. Они оглянулись на него. Все трое были пожилые люди.

— Wollen sie trinken?<sup>[3]</sup> — спросил он. Один из них кивнул головой и улыбнулся.

— Oui, monsieur.<sup>[4]</sup>

— Вы говорите по-французски?

— Oui, monsieur.

— Что же мы будем пить? Connais vous des champagnes?<sup>[5]</sup>

— Non, monsieur.<sup>[6]</sup>

— Faut les connaître,<sup>[7]</sup> — заметил Джонсон. — Fräulein! — окликнул он кельнершу. — Мы будем пить шампанское.

— Какое вам угодно, сэр?

— Самое лучшее, — сказал Джонсон. — Какое тут самое лучшее? — обратился он к носильщикам.

— Le meilleur?<sup>[8]</sup> — спросил тот, который заговорил первым.

— Непременно.

Носильщик вытащил из кармана золотые очки и стал смотреть карту. Он провел пальцем по четырем напечатанным на машинке строчкам с названиями и ценами.

— "Sportsman", — сказал он. — «Sportsman» — самое лучшее.

— Согласны, господа? — спросил Джонсон других носильщиков. Один из них кивнул в ответ. Другой сказал по-французски:

— Самому мне не приходилось пробовать, но я много слыхал про него. Вино хорошее.

— Бутылку «Sportsman», — сказал Джонсон кельнерше. Он посмотрел цену: одиннадцать швейцарских франков. — Ну, давайте две бутылки. Ничего, если я посижу тут с вами? — спросил он носильщика,

предложившего "Sportsman".

— Пожалуйста. Присаживайтесь вот здесь. — Носильщик улыбнулся ему. Затем он снял свои очки и спрятал их в футляр. — Что, monsieur сегодня празднует день рождения?

— Нет, — сказал Джонсон. — Праздновать мне, собственно, нечего. Моя жена потребовала развода.

— Что вы? — сказал носильщик, — Не может быть. — Другой носильщик покачал головой. Третий, по-видимому, был туг на ухо.

— Дело, конечно, обычное, — сказал Джонсон. — Вроде первого посещения зубного врача или первого нездоровья у девушки, но меня это выбило из колеи.

— Да оно и понятно, — сказал старший из носильщиков. — Я вас понимаю.

— Из вас, господа, никому не приходилось разводиться? — спросил Джонсон. Он уже перестал умышленно коверкать слова и говорил теперь на хорошем французском языке.

— Нет, — сказал носильщик, назвавший «Sportsman». — Здесь разводы бывают редко. Попадаются, конечно, разведенные мужья, но их немного.

— У нас иначе, — сказал Джонсон. — Почти все разводятся.

— Это верно, — подтвердил носильщик. — Я читал об этом в газетах.

— Я сам немножко запоздал, — продолжал Джонсон, — развозясь только первый раз. А мне тридцать пять.

— Mais vous êtes encore jeune,<sup>[9]</sup> — сказал носильщик. — Monsieur n'a que trente cinq ans,<sup>[10]</sup> — пояснил он двум другим. Те закивали в ответ.

— Он совсем молодой, — сказал один из них.

— И вы в самом деле разводитесь в первый раз? — спросил носильщик.

— В самом деле, — сказал Джонсон. — Откройте, пожалуйста, бутылку, mademoiselle.

— А дорого стоит развестись?

— Десять тысяч франков.

— Швейцарских?

— Нет, французских.

— Ага. Значит, на швейцарские деньги две тысячи. Все-таки не дешево.

— Да.

— Зачем же это делать?

— Потому что этого требуют.

— А для чего требуют?

— Чтобы выйти замуж за кого-нибудь другого,

— Да ведь это же глупо.

— Вполне согласен, — сказал Джонсон.

Кельнерша налила всем четвертым вина. Они подняли стаканы.

— *Prosit!* — сказал Джонсон.

— *A votre santé, monsieur!* [11] — сказал носильщик.

Двое других прибавили: — *Salut.*

Шампанское было на вкус точно сладкая фруктовая водица.

— Это что, швейцарский обычай — отвечать всегда на другом языке? — спросил Джонсон.

— Нет, — сказал носильщик. — По-французски выходит вежливее.

Кроме того, ведь здесь французская Швейцария.

— Но вы говорите по-немецки.

— Да, в моей деревне говорят по-немецки.

— Понимаю, — сказал Джонсон. — Так вы, значит, никогда не разводились?

— Нет. Это слишком дорого. И потом, я никогда не был женат.

— Вот как! — сказал Джонсон. — А эти господа?

— Они женаты.

— Вы довольны, что женаты? — спросил Джонсон второго носильщика.

— Как вы сказали?

— Вам нравится быть женатым?

— *Oui. C'est normal.* [12]

— Именно, — сказал Джонсон. — *Et vous, monsieur?* [13]

— *Ça va,* [14] — сказал третий носильщик.

— *Pour moi,* — сказал Джонсон, — *ça ne va pas.* [15]

— Monsieur собирается развестись, — объяснил первый носильщик.

— О, — сказал второй носильщик.

— Ага, — сказал третий.

— Ну, — сказал Джонсон, — тема, по-видимому, исчерпана. Вам неинтересно слушать о моих огорчениях, — обратился он к первому носильщику.

— Нет, почему же, — возразил носильщик.

— Давайте говорить о чем-нибудь другом.

— Пожалуйста.

— О чём же нам поговорить?

— Вы занимаетесь спортом?

— Нет, — сказал Джонсон. — Вот жена моя спортсменка.

— А вы как развлекаетесь?

— Я — писатель.

— Это хорошо оплачивается?

— Нет. Но потом, когда приобретешь известность, — да.

— Интересно.

— Нет, — сказал Джонсон, — совсем неинтересно. Очень сожалею, господа, но я должен проститься с вами. Прошу вас распить и вторую бутылку.

— Да ведь поезд придет не раньше чем через три четверти часа.

— Я знаю, — сказал Джонсон.

Подошла кельнерша, и он уплатил за вино и за свой обед.

— Вы уходите, сэр? — спросила она.

— Да, — сказал Джонсон. — Хочу немного пройтись. Чемоданы я оставлю здесь.

Он надел кашне, пальто и шляпу. На платформе густыми хлопьями валил снег. Он оглянулся назад и в окно увидел трех носильщиков, которые все еще сидели у стола. Кельнерша выливалась им в стаканы остатки вина из начатой бутылки. Неоткупленную бутылку она унесла обратно. На этом они заработают по три с лишним франка на душу, подумал Джонсон. Он повернулся и пошел вдоль платформы. Когда он сидел в буфете, ему казалось, что боль притупится, если он будет говорить об этом; но она не притупилась; только на душе у него стало скверно.

### III. СЫН ЧЛЕНА ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В ТЕРРИТЭ

В буфете на станции Территэ было слишком тепло: буфет был ярко освещен, и чистенькие столики отполированы до блеска. На столиках стояли корзинки с соленым печеньем в бумажных пакетиках и лежали картонные подставки для пивных кружек, чтобы мокрые донышки не оставляли следов на дереве. Стулья были деревянные, резные, с залоснившимися от времени, но очень удобными сиденьями. На стене висели часы, в глубине комнаты была буфетная стойка, а за окном шел снег. За столиком под часами какой-то старик пил кофе и читал вечернюю газету. Вошел носильщик и сказал, что Восточно-симплонский экспресс идет из

Сен-Мориса с часовым опозданием. К столу мистера Гарриса подошла кельнерша. Мистер Гаррис только что кончил обедать.

— Экспресс на час опаздывает, сэр. Может быть, выпьете кофе?

— Если вам угодно.

— Простите? — переспросила кельнерша.

— Да, будьте добры, — сказал мистер Гаррис.

— Пожалуйста, сэр, — сказала кельнерша.

Она принесла из кухни кофе. Мистер Гаррис положил сахар в чашку, раздавил его ложечкой и, повернувшись к окну, стал смотреть, как падает снег на освещенную платформу.

— Вы говорите еще на каких-нибудь языках, кроме английского? — спросил он кельнершу.

— Как же, сэр! Я говорю по-немецки, по-французски и на местных диалектах.

— Какой язык вам больше всех нравится?

— Они очень похожи, сэр. Я не могу сказать, что тот или другой мне нравится больше.

— Хотите что-нибудь выпить — вина или чашку кофе?

— Нет, что вы, сэр! Нам не разрешается пить с посетителями.

— Может быть, сигару?

— Нет, что вы, сэр! — Она засмеялась. — Я не курю, сэр.

— Я тоже, — сказал Гаррис. — Я не согласен с Дэвидом Беласко.

— Простите?

— Беласко. Дэвид Беласко. Его легко узнать, потому что воротнички на нем всегда задом наперед. Но не согласен с ним. К тому же он умер.

— Я могу идти, сэр? — сказала кельнерша.

— Безусловно, — сказал Гаррис. Он наклонился вперед и стал смотреть в окно.

Старик, сидевший за дальним столиком, сложил свою газету. Он поглядел на мистера Гарриса, потом взял свою чашку с кофе и направился к его столу.

— Прошу извинить за навязчивость, — сказал он по-английски, — но мне пришло в голову — не состоите ли вы членом Национального географического общества?

— Присаживайтесь, пожалуйста, — сказал Гаррис.

Старик сел за столик.

— Может быть, выпьете еще чашку кофе или ликеру?

— Нет, благодарю вас, — ответил старый джентльмен.

— Тогда разрешите угостить вас рюмкой кирша?

— Пожалуй. Но только уж разрешите мне вас угостить.

— Нет, позвольте мне. — Гаррис подозрительно.

Старый джентльмен вынул из внутреннего кармана кожаный бумажник, перетянутый широкой резинкой. Сняв резинку, он вытащил несколько карточек, выбрал из них одну и протянул ее Гаррису.

— Вот моя членская карточка, — сказал он. — Вы зналли в Америке мистера Фредерика Дж. Русселя?

— Как будто нет.

— Я полагал, что он очень известное лицо.

— А откуда он? Из какого города?

— Из Вашингтона, конечно. Разве не там находится главный совет Общества?

— Кажется, там.

— Кажется? Вы не уверены в этом?

— Я давно уже не был в Штатах, — сказал Гаррис.

— Так, значит, вы не член Общества?

— Нет. Но мой отец состоит в нем много лет.

— Тогда он, наверно, знает Фредерика Дж. Русселя. Это один из руководителей Общества. Позволю себе упомянуть, что именно мистер Руссель рекомендовал меня.

— Очень приятно слышать.

— Как жаль, что вы не член Общества! Но ваш отец мог бы дать вам рекомендацию.

— Наверно, — сказал Гаррис. — Как только я вернусь, нужно будет заняться этим.

— Очень, очень вам советую, — сказал старик. — Журнал вы, конечно, читаете?

— Безусловно.

— Видали вы номер, посвященный североамериканской фауне, с иллюстрациями в красках?

— Да. Он у меня есть, в Париже.

— А номер с панорамой вулканов Аляски?

— Совершенно изумительно.

— Я с большим удовольствием смотрел там фотографии диких животных, сделанные Джорджем Шайресом-третьим.

— Да. Шикарные зверюги.

— Простите, как вы сказали?

— Превосходные фотографии. Этот миляга Шайрес...

— Вы зовете его "миляга"?

— Мы с ним старые друзья.

— Ах, вот как! Вы знакомы с Джорджем Шайресом-третьим? Вероятно, очень интересный человек?

— Еще бы! Таких интересных людей не часто приходится встречать.

— А Джорджа Шайреса-второго вы тоже знаете? Что, он такой же интересный человек?

— Нет, он не такой интересный.

— А я думал, что он, наверно, очень интересный.

— Представьте — нет. Знаете, даже странно. Он совсем не такой интересный. Я часто удивлялся, почему это так.

— Гм, — сказал старый джентльмен, — казалось бы, в этой семье все должны быть интересными людьми.

— А вы помните панораму пустыни Сахары? — спросил Гаррис.

— Пустыни Сахары? Да это было лет пятнадцать назад.

— Совершенно верно. Она особенно нравилась моему отцу.

— Разве более поздние номера ему меньше нравятся?

— Нет, наверно, не меньше. Но эту панораму Сахары он очень любил.

— Она была прекрасно выполнена. Но я нахожу, что ее художественные достоинства значительно превышали ее научную ценность.

— Вот не знаю, — сказал Гаррис. — Этот песчаный вихрь, и этот араб со своим верблюдом, на коленях, лицом к Мекке...

— Мне помнится, араб там стоял, держа верблюда под уздцы...

— Ах, вы правы, — сказал Гаррис. — Я спутал с книгой полковника Лоуренса.

— Книга Лоуренса посвящена как будто Аравии?

— Безусловно, — сказал Гаррис. — Араб мне напомнил о ней.

— Полковник, должно быть, очень интересный человек.

— Несомненно.

— Что он сейчас делает, вы не слыхали?

— Он поступил в Королевский воздушный флот.

— Зачем он это сделал?

— Захотелось.

— Вы не знаете, он состоит в Национальном географическом обществе?

— Вот этого не могу вам сказать.

— Он был бы очень полезным членом Общества. Как раз такие люди там нужны. Я с радостью рекомендовал бы его, если вы думаете, что его кандидатура встретит одобрение.

— О, я уверен в этом.

— Я рекомендовал одного ученого из Веве и одного своего лозаннского коллегу, и оба были избраны. Думаю, это встретит одобрение, если я рекомендую полковника Лоуренса.

— Превосходная мысль, — сказал Гаррис. — Часто вы бываете здесь, в станционном буфете?

— Я прихожу сюда пить кофе после обеда.

— Вы преподаете в университете?

— Я уже отошел от практической деятельности.

— А я жду поезда, — сказал Гаррис. — Еду сейчас в Париж, а потом через Гавр в Штаты.

— Я ни разу не был в Америке. Но мне бы очень хотелось туда попасть. Может быть, еще придется бывать на заседании Общества. Буду очень рад познакомиться с вашим отцом.

— Он, наверно, был бы в восторге от этого знакомства, но он умер в прошлом году. Застрелился, представьте себе.

— Весьма прискорбно слышать. Не сомневаюсь, что это была тяжелая утрата — как для семьи, так для научного мира.

— Научный мир стойко перенес эту потерю. Вот моя карточка, — сказал Гаррис. — Мои инициалы Э. Д., а его были Э. Дж. Я уверен, что он был бы в восторге от знакомства с вами.

— Это и для меня было бы чрезвычайно приятно.

Старый джентльмен достал из бумажника карточку и подал ее Гаррису. На карточке стояло:

Д-Р СИГИЗМУНД ВАЙЕР,

Д-Р ФИЛОСОФИИ

Член Национального географического общества

Вашингтон, Колумбия, США

— Я буду очень бережно хранить ее, — сказал Гаррис.

*Переводчик: Е. Калашникова*

## 10. Ожидание

Мы еще лежали в постели, когда он вошел в комнату затворить окна, и я сразу увидел, что ему нездоровится. Его тряслось, лицо у него было бледное, и шел он медленно, как будто каждое движение причиняло ему боль.

- Что с тобой, Мальш?
- У меня голова болит.
- Поди ляг в постель.
- Нет, я здоров.
- Ляг в постель. Я оденусь и приду к тебе.

Но когда я сошел вниз, мой девятилетний мальчуган, уже одевшись, сидел у камина — совсем больной и жалкий. Я приложил ладонь ему ко лбу и почувствовал, что у него жар.

- Ложись в постель, — сказал я, — ты болен.
- Я здоров, — сказал он.
- Пришел доктор и смерил мальчику температуру.
- Сколько? — спросил я.
- Сто два.

Внизу доктор дал мне три разных лекарства в облатках разных цветов и сказал, как принимать их. Одно было жаропонижающее, другое слабительное, третье против кислотности. Бациллы инфлюэнцы могут существовать только в кислой среде, пояснил доктор. По-видимому, в его практике инфлюэнца была делом самым обычным, и он сказал, что беспокоиться нечего, лишь бы температура не поднялась выше ста четырех. Эпидемия сейчас не сильная, ничего серьезного нет, надо только уберечь мальчика от воспаления легких.

Вернувшись в детскую, я записал температуру и часы, когда какую облатку принимать.

- Почитать тебе?
- Хорошо. Если хочешь, — сказал мальчик. Лицо у него было очень бледное, под глазами темные круги. Он лежал неподвижно и был безучастен ко всему, что делалось вокруг него.

Я начал читать «Рассказы о пиратах» Хауарда Пайла, но видел, что он не слушает меня.

- Как ты себя чувствуешь, Мальш? — спросил я.
- Пока все так же, — сказал он.

Я сел в ногах кровати и стал читать про себя, дожидаясь, когда надо будет дать второе лекарство. Я думал, что он уснет, но, подняв глаза от книги, поймал его взгляд — какой-то странный взгляд, устремленный на спинку кровати.

— Почему ты не попробуешь заснуть? Я разбужу тебя, когда надо будет принять лекарство.

— Нет, я лучше так полежу.

Через несколько минут он сказал мне:

— Папа, если тебе неприятно, ты лучше уди.

— Откуда ты взял, что мне неприятно?

— Ну, если потом будет неприятно, так ты уди отсюда.

Я решил, что у него начинается легкий бред, и, дав ему в одиннадцать часов лекарство, вышел из комнаты.

День стоял ясный, холодный; талый снег, выпавший накануне, успел подмерзнуть за ночь, и теперь голые деревья, кусты, валежник, трава и плеши голой земли были подернуты ледяной корочкой, точно тонким слоем лака. Я взял с собой молодого ирландского сеттера и пошел прогуляться по дороге и вдоль замерзшей речки, но на гладкой, как стекло, земле не то что ходить, а и стоять было трудно; мой рыжий пес скользил, лапы у него разъезжались, и я сам растянулся два раза, да еще уронил ружье, и оно отлетело по льду в сторону.

Из-под высокого глинистого берега с нависшими над речкой кустами мы спугнули стаю куропаток, и я подстрелил двух в ту минуту, когда они скрывались из виду за береговым откосом. Часть стаи опустилась на деревья, но большинство куропаток попряталось, и, для того чтобы снова поднять их, мне пришлось несколько раз подпрыгнуть на кучах обледенелого валежника. Стоя на скользких, пружинивших сучьях, стрелять по взлетавшим куропаткам было трудно, и я убил двух, по пятерым промазал и отправился в обратный путь, довольный, что набрел на стаю около самого дома, радуясь, что куропаток хватит и на следующую охоту.

Дома мне сказали, что мальчик никому не позволяет входить в детскую.

— Не входите, — говорил он. — Я не хочу, чтобы вы заразились.

Я вошел к нему и увидел, что он лежит все в том же положении, такой же бледный, только скулы порозовели от жара, и по-прежнему, не отрываясь, молча смотрит на спинку кровати.

Я смерил ему температуру.

— Сколько?

— Около ста градусов, — ответил я. Термометр показывал сто два и четыре десятых.

— Раньше было сто два? — спросил он.

— Кто это тебе сказал?

— Доктор.

— Температура у тебя не высокая, — сказал я. — Беспокоиться нечего.

— Я не беспокоюсь, — сказал он, — только не могу перестать думать.

— А ты не думай, — сказал я. — Не надо волноваться.

— Я не волнуюсь, — сказал он, глядя прямо перед собой. Видно было, что он напрягает все силы, чтобы сосредоточиться на какой-то мысли.

— Прими лекарство и запей водой.

— Ты думаешь, это поможет?

— Конечно, поможет.

Я сел около кровати, открыл книгу про пиратов и начал читать, но увидел, что он не слушает меня, и остановился.

— Как по-твоему, через сколько часов я умру? — спросил он.

— Что?

— Сколько мне еще осталось жить?

— Ты не умрешь. Что за глупости!

— Нет, я умру. Я слышал, как он сказал сто два градуса.

— Никто не умирает от температуры в сто два градуса. Что ты выдумываешь?

— Нет, умирают, я знаю. Во Франции мальчики в школе говорили, когда температура сорок четыре градуса, человек умирает. А у меня сто два.

Он ждал смерти весь день; ждал ее с девяти часов утра.

— Бедный Малыш, — сказал я. — Бедный мой Малыш. Это все равно как мили и километры. Ты не умрешь. Это просто другой термометр. На том термометре нормальная температура тридцать семь градусов. На этом девяносто восемь.

— Ты это наверное знаешь?

— Ну конечно, — сказал я. — Это все равно как мили и километры. Помнишь? Если машина прошла семьдесят миль, сколько это километров?

— А, — сказал он.

Но пристальность его взгляда, устремленного на спинку кровати, долго не ослабевала. Напряжение, в котором он держал себя, тоже спало не сразу, зато на следующий день он совсем раскис и то и дело принимался плакать из-за всякого пустяка.

*Переводчик: Н. Волжина*

## **11. Трактат о мертвых** *(из книги «Смерть после полудня»)*

Весной лучше не ездить в Испанию на бой быков — из-за дождей. Может случиться, что в какой город ни сунешься, повсюду будет дождь, особенно в мае и июне, поэтому я предпочитаю летние месяцы. Правда, я ни разу не видел, чтобы в Испании шел снег в июле или августе; впрочем, в августе тысяча девятьсот двадцать девятого года снег выпал в горах, в летних курортах Арагона, а в Мадриде однажды снег шел пятнадцатого мая и было так холодно, что бой быков пришлось отменить. В тот год я отправился в Испанию рано, рассчитывая, что весна уже наступила, и я хорошо помню, как весь день поезд шел по голой холодной пустыне, точно мы ехали по Южной Дакоте в ноябре месяце. Просто не верилось, что это та же страна, которую я знал летом, и, когда я вечером, в Мадриде, вышел из здания вокзала, меня закружила снежная метель. Я приехал без пальто и целых три дня либо писал в своем номере, не вставая с постели, либо сидел в соседнем кафе и пил кофе с коньяком. Выходить на улицу я не мог — было слишком холодно; а через три дня наступила чудесная весенняя погода. Мадрид лежит в горах, и климат там горный. Небо над Мадридом высокое, безоблачное, подлинно испанское небо, — по сравнению с ним итальянское кажется приторным, — а воздух такой, что дышать им — просто наслаждение. Зной и холод мгновенно сменяют друг друга. Однажды, июльской ночью, когда мне не спалось, я видел, как нищие жгли на улице старые газеты и грелись, сидя вокруг костра. А два дня спустя была такая жаркая ночь, что заснуть удалось лишь под утро, когда потянуло предрассветным холодком.

Мадридцы любят климат Мадрида и гордятся его изменчивостью. Где, в каком другом большом городе найдете вы такое разнообразие? Вы приходите в кафе и на вопрос, хорошо ли выспались, отвечаете, что была адская жара и вы уснули только на рассвете, а вам говорят, что именно так и надо. Всегда под утро становится прохладно — это и есть самое время, когда человеку полагается спать. Как бы жарко ни было ночью, уже на рассвете вы непременно заснете. Так что климат и вправду отличный, если не обижаться на резкие перемены. В душные ночи можно поехать в Бомбилью — посидеть за стаканом сидра и потанцевать, потом погулять в прохладных длинных аллеях, где с мелководной реки подымается туман. В

холодные ночи можно выпить коньяку и рано лечь спать. Вообще-то спать по ночам считается в Мадриде чудачеством. И эта привычка довольно долго смущает ваших испанских друзей. Мадридец ни за что не ляжет спать, пока так или иначе не убьет время до утра. Свидания обычно назначаются в кафе на любой час после полуночи. Ни в одном из городов, где мне довелось побывать, кроме Константинополя во время оккупации его союзными войсками, я не видел, чтобы люди так редко ложились в постель с намерением высаться. В Мадриде, где действует общее правило, согласно которому никто не ложится спать до предрассветной прохлады, такое поведение понятно, но для Константинополя это не причина, потому что там мы всегда, пользуясь прохладным часом, ездили к Босфору любоваться восходом солнца. Восход солнца — это чудесное зрелище. В ранней молодости — на рыбалке или на охоте, а также во время войны — нередко приходилось видеть, как встает солнце; а после окончания войны, насколько мне помнится, я видел восход только в Константинополе. Ездить к Босфору любоваться восходом сталоочно укоренившимся обычаем. Едешь на рассвете вдоль Босфора, смотришь, как встает солнце, и, что бы ты ни делал до этого, ты чувствуешь, что, общаясь с этим, ты утверждаешься в решенном. Словно это какое-то естественное, целительное завершение прожитого дня. Но такие вещи, когда долго их не видишь, забываются. Я однажды вечером очень поздно выехал из Канзас-сити, чтобы навестить своих родственников, живущих за городом, и вдруг увидел огромное зарево, точно такое, как в ту ночь, когда горел скотопригонный двор; и, хотя я понимал, что мало чем могу помочь, все же счел своим долгом поспешить на пожар. Я повернул машину и повел ее в ту сторону. Когда я поднялся на ближайший пригород, все объяснилось: это был восход солнца.

\*\*\*

...Солнце — это очень важно. Теория, практика и зрелище боя быков создавались в расчете на солнце, и, когда солнце не светит, коррида испорчена. Испанцы говорят: «El sol es el mejor torero» — солнце лучший террор, и без солнца лучший тореро бессилен. Он словно человек без тени.

Два условия требуются для того, чтобы страна увлекалась боем быков. Во-первых, быки должны быть выращены в этой стране, и, во-вторых, народ ее должен интересоваться смертью. Англичане и французы живут

для жизни. У французов создан культ почитания усопших, но самое главное для них — повседневные житейские дела, семейный очаг, покой, прочное положение и деньги. Англичане тоже живут для мира сего и не склонны вспоминать о смерти, размышлять и говорить о ней, искать ее или подвергать себя смертельной опасности, иначе как на службе отечеству, либо ради спорта или за надлежащее вознаграждение. А в общем — это неприятная тема, которую лучше обходить, в крайнем случае можно сказать несколько душеспасительных слов, но уж никак не следует вникать в нее. Никогда не надо распространяться о жертвах, говорят они, и я сам слышал от них эти слова. Англичане убивают во имя спортивного азарта, французы — во имя добычи. Добыча — это весьма соблазнительно, что может быть лучше, из-за нее стоит убивать. Но любое убийство, совершенное не ради спорта и не ради добычи, англичане и французы считают жестокостью. Конечно, не так это просто, как я изложил здесь, но такова судьба всех обобщающих выводов, и я пытаюсь установить некий принцип, воздерживаясь от перечня исключений.

\*\*\*

Помню, как Гертруда Стайн, говоря о бое быков, восхищалась Хоселито и показала мне фотографии, на которых она снята вместе с ним в Валенсии: она сидит в первом ряду, подле нее Алиса Токлас, под ними, на арене, — Хоселито и его брат Галло, а я тогда только что приехал с Ближнего Востока, где греки, прежде чем оставить Смирну, сталкивали с пристани в мелкую воду своих тягловых и вьючных животных, предварительно перебив им ноги, и, помнится, я сказал, что не люблю боя быков, потому что мне жаль несчастных лошадей. В то время я начинал писать, и самое трудное для меня, помимо ясного сознания того, что действительно чувствуешь, а не того, что полагается чувствовать и что тебе внушено, было изображение самого факта, тех вещей и явлений, которые вызывают испытываемые чувства. Когда пишешь для газеты, то, сообщая о каком-нибудь событии, так или иначе, передаешь свои чувства; тут помогает элемент злободневности, который наделяет известной эмоциональностью всякий отчет о случившемся сегодня. Но проникнуть в самую суть явлений, понять последовательность фактов и действий, вызывающих те или иные чувства, и так написать о данном явлении, чтобы это оставалось действенным и через год, и через десять лет, — а при удаче и закреплении достаточно четком даже навсегда, — мне никак не

удавалось, и я очень много работал, стараясь добиться этого. Войны кончились, и единственное место, где можно было видеть жизнь и смерть, то есть насильственную смерть, была арена боя быков, и мне очень хотелось побывать в Испании, чтобы увидеть это своими глазами. Я тогда учился писать и начинал с самых простых вещей, а одно из самых простых и самых существенных явлений — насильственная смерть. Она лишена тех привходящих моментов, которыми осложнена смерть от болезни, или так называемая естественная смерть, или смерть друга, или человека, которого любил или ненавидел, — но все же это смерть, это нечто такое, о чем стоит писать. Я читал много книг, в которых у автора, вместо описания смерти, получалась просто клякса, и, по-моему, причина кроется в том, что либо автор никогда близко не видел смерти, либо в ту минуту мысленно или фактически закрывал глаза, как это сделал бы тот, кто увидел бы, что поезд наезжает на ребенка и что уже ничем помочь нельзя.

По мере того как бой быков развивался, — или приходил в упадок, — все больше внимания уделялось приемам выполнения разных движений торero и все меньше — конечной цели; и теперь подготовка быка к последнему смертельному удару, которую раньше брал на себя матадор, в значительной степени ложится на бандерильеров; если убийство быка представляет хоть малейшую трудность, то матадор, не обладающий ни находчивостью, ни знанием, а только грацией и виртуозностью, выходит против быка подготовленного, обессиленного, сломленного и только что не умерщвленного искусствой работой опытного бандерильеро.

Некогда самым главным в зрелище боя быков считался момент убийства быка; с развитием и вырождением этого искусства все больший вес приобретали втыканье бандерилий и умение действовать мулетой. Плащ, бандерильи и мулета постепенно становились самоцелью, вместо того чтобы, как раньше, быть только средством достижения цели, и от этого бой быков одновременно и проиграл и выиграл.

В прежнее время быки были крупнее, чем теперь, они были свирепее, норовистее, тяжелее, старше. Их рост не задерживали искусственно в угоду торero, их выпускали на арену в возрасте от четырех с половиной до пяти лет, а не от трех с половиной до четырех, как теперь. Многие матадоры имели за плечами от шести до двенадцати лет ученичества в качестве бандерильеро и новильеро, когда получали официальное звание матадора. Это были зрелые люди, до тонкости знавшие свое ремесло, и они выходили на быка, достигшего расцвета физической силы и умевшего пользоваться рогами; бой с таким быком был и труден и опасен. Целью боя был

заключительный удар шпагой, смертельная схватка человека с быком, «момент истины», как его называют испанцы. И весь ход боя служил лишь подготовкой к этому моменту.

Нельзя изо дня в день сражаться с быками, если это настоящие быки — огромные, сильные, свирепые и проворные, знающие силу своих рогов и достигшие надлежащего возраста, — применяя технику боя быков, изобретенную Хуаном Бельмонте. Это слишком опасно...

И современный бой быков возможен только благодаря вырождению быков. Это, безусловно, вырождающееся искусство, и, как всякое явление декаданса, оно именно теперь, в период сильнейшего вырождения, расцвело особенно пышно.

\*\*\*

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** По-моему, в сегодняшней корриде не было никакого вырождения или упадка. Все тореро показались мне очень мужественными и храбрыми. Почему, сударь, вы говорите о декадансе?

**АВТОР.** Сударыня, они, безусловно, очень мужественные люди, хотя у Виляльты, пожалуй, голос мог бы быть чуть погуще. Но, говоря о вырождении, я имею в виду не того или иного тореро, а все искусство в целом; это следствие гипертрофии некоторых его аспектов.

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** Вас очень трудно понять, сударь.

— Я разъясню свою мысль позже, сударыня, но должен сказать, что не так-то легко пользоваться термином «декаданс», потому что теперь это — просто-напросто бранное слово, которым критики обзывают все то, чего они еще не успели понять, или что, как им кажется, противоречит их нравственным понятиям.

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** Я всегда думала, что это означает какую-то гниль, ну, например, падение придворных нравов.

— Сударыня, все наши слова притупились из-за небрежного обращения с ними, но ваш врожденный здравый смысл подсказывает вам истину.

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** Прошу прощения, сударь, но меня нимало не занимают все эти рассуждения о словах. Если я не ошибаюсь, мы здесь для того, чтобы узнать побольше о бое быков и матадорах.

— Извольте, сударыня. Но уж если писатель заговорил о словах, то он будет говорить до тех пор, пока вам не наскучит и вы не пожелаете ему

поискуснее пользоваться ими и поменьше истолковывать их.

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** Так не лучше ли вам помолчать, сударь?.. Вы постоянно желаете тореадорам успеха, а между тем указываете на их ошибки и, по-моему, придираетесь к ним. И скажите, молодой человек, как это случилось, что вы так много говорите и так длинно пишете о бое быков, а сами не участвуете в нем? Почему вы не стали тореадором, если вас так увлекло это дело и вам кажется, что вы досконально изучили его?

— Сударыня, не бывает бесповоротных решений, но с годами я все сильнее испытываю потребность посвятить себя литературе. Говорят, что благодаря замечательным произведениям мистера Уильяма Фолкнера издатели теперь согласны печатать все, что угодно, и не заставляют писателей вычеркивать лучшие страницы своих книг, и я предвкушаю удовольствие написать о днях моей юности, которые я провел в самых лучших домах терпимости, какие только имелись в стране, среди самого блестящего общества. Я берег этот материал про запас, чтобы использовать его под старость, когда расстояние поможет мне увидеть все с предельной ясностью.

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** А мистер Фолкнер хорошо пишет о таких домах?

— Бесподобно, сударыня. Мистер Фолкнер великолепно пишет о них. За много лет ни один писатель из тех, кого мне приходилось читать, не написал лучше его.

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** Надо купить его книги.

— Купите, сударыня, с Фолкнером вы не промахнетесь. Кстати, он и плодовит. К тому времени, как вы сделаете заказ, выйдут новые его книги.

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** Если они таковы, как вы утверждаете, то чем больше, тем лучше.

— Сударыня, я совершенно с вами согласен.

\*\*\*

Заметьте: если писатель пишет ясно, каждый может увидеть, когда он фальшивит. Если же он напускает тумана, чтобы уклониться от прямого утверждения (что не имеет ничего общего с нарушением так называемых синтаксических и грамматических правил для того, чтобы добиться результатов, которых иным путем добиться нельзя), то его фальшь обнаруживается не так легко, и другие писатели, которым туман нужен для той же цели, из чувства самосохранения будут превозносить его. Не

следует смешивать подлинный мистицизм с фальшивой таинственностью, за которой не кроется никаких тайн и к которой прибегает бесталанный писатель, пытаясь замаскировать свое невежество или неумение писать ясно. Мистицизм подразумевает мистику, наличие некоей тайны, и на свете много тайн; но нет ничего таинственного в отсутствии таланта; и ходульная журналистика не становится литературой, если впрыснуть ей дозу ложно-эпического тона. Заметьте еще: все плохие писатели обожают эпос.

**АВТОР.** В этой главе, сударыня, совсем нет разговоров, а мы уже подошли к концу. Весьма сожалею.

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** И я сожалею, сударь.

— Что бы вы хотели? Еще несколько проверенных истин о породистых быках? Филиппику против венерических болезней? Две-три оригинальные мысли о смерти и разложении? Или, быть может, вас заинтересует рассказ о том, как автор в ранней юности, проведенной в округах Эммет и Шарльвуа штата Мичиган, повстречался с дикобразом?

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** Прошу вас, сударь, довольно о животных на сегодня.

— Что вы скажете о небольшом душеспасительном рассуждении относительно жизни и смерти вроде тех, к которым авторы питают столь сильное пристрастие?

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** Я бы не сказала, что это меня прельщает. Нет ли у вас чего-нибудь новенького, о чем я никогда не читала? Что-нибудь занятное и вместе с тем поучительное? Мне немного не по себе сегодня.

— Сударыня, у меня имеется именно то, что вам нужно. Не про диких животных и не про быков. Написано доступным языком и предназначено стать «Занесенными снегом» наших дней, а к концу там сплошь одни разговоры.

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** Если там есть разговоры, я с удовольствием прочту.

— Извольте. Это называется: «Мертвые. Глава из естественной истории».

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** Название мне не нравится.

— Я не говорил, что оно вам понравится. Очень может быть, что рассказ вам вообще не понравится. Но так или иначе — вот он.

Мне всегда казалось, что естествоиспытатели напрасно пренебрегают войной как полем для наблюдений. У нас имеются прелестные и весьма обстоятельные описания флоры и фауны Патагонии покойного У.Г. Хадзона; его преподобие Гилберт Уайт очень увлекательно рассказал о случайных и совершенно необычных прилетах удода в Селборн, а епископ Стэнли дал нам хотя и популярную, но ценную «Жизнь птиц». Разве мы не

можем предоставить читателю несколько интересных научных данных на основании наблюдений над мертвыми? Надеюсь, что да.

Когда неустрашимый путешественник Мунго Парк в одно из своих странствий, нагой и одинокий, теряя последние силы, лежал в необъятной африканской пустыне и думал, что дни его сочтены, и когда, по-видимому, ему ничего не оставалось, как покорно ждать смерти, взгляд его упал на цветок необычайной красоты. «Хотя весь цветок, — пишет он, — был не больше моего пальца, я не мог без восторга смотреть на нежное строение его корней, листочеков и семенных коробочек. Может ли тот, кто в этом глухом уголке мира взлелеял, вспоил и наделил совершенством столь, казалось бы, ничтожное создание, равнодушно взирать на бедствия и муки живых существ, сотворенных по его образу и подобию? Разумеется, нет. Эти мысли спасли меня от отчаяния; я поднялся и, несмотря на голод и усталость, продолжал свой путь, уверенный, что помочь близка; и я не обманулся».

Если, как говорит епископ Стэнли, созерцать чудеса природы не только с любопытством, но и с благочестием, то нет такой области естественной истории, изучение которой не укрепило бы в нас надежду, веру и любовь, в чем мы все, каждый из нас так сильно нуждаемся в наших странствиях по пустыне жизни. Так посмотрим, какие возвышенные чувства могут пробудить в нас наблюдения над мертвыми.

На войне мертвые человеческой породы обычно самцы, но это не вполне верно в отношении животных вообще, и среди мертвых лошадей я нередко встречал кобыл. Интересно отметить, что только на войне естествоиспытатель имеет возможность наблюдать мертвых мулов. За двадцать лет наблюдений над жизнью в мирное время я ни разу не видел мертвого мула и уже стало сомневаться в том, что эти животные действительно смертны. В некоторых, очень редких случаях мне казалось, что я вижу мертвых мулов, однако при ближайшем рассмотрении я убеждался, что это живые существа, которые производили впечатление мертвых только благодаря способности пребывать в полном покое. Но на войне эти животные гибнут почти так же, как представители более распространенной и менее выносливой лошадиной породы.

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** Вы, кажется, сказали, что это не про животных.

— Я сейчас кончу про них. Имейте немножко терпения. Так писать очень трудно.

Мертвые мулы, которых мне пришлось видеть, большей частью встречались на горных дорогах или у подножия крутых откосов, куда их столкнули, чтобы очистить путь. В горах, где их присутствие привычно,

они почти не нарушали общей картины и не казались мне такой несообразностью, как позднее в Смирне, когда греки перебили ноги всем своим выручным животным и столкнули их с мола в мелкую воду. Поистине мулы и лошади с перебитыми ногами, тонущие в мелкой воде, взвывали к кисти Гойи. Хотя вряд ли можно сказать, что они в буквальном смысле слова взвывали к кисти Гойи, поскольку есть только один Гойя, давно умерший, и весьма сомнительно, чтобы эти животные, будь они в состоянии взвывать, возвзвали бы о запечатлении на холсте своей участи; скорее всего, обладай они даром речи, они взвывали бы о помощи.

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** Вы уже писали об этих мулах.

— Знаю и прошу прощения. Не перебивайте меня. Я больше не буду писать о них. Даю слово.

Возвращаясь к вопросу о поле мертвых, нельзя не отметить тот факт, что, поскольку мертвые обычно принадлежат к мужскому полу, вид мертвей женщины просто поражает. Впервые мне пришлось наблюдать такое патологическое отклонение от нормы непосредственно после взрыва на военном заводе, расположенному близ Милана, в Италии. Мы поехали к месту катастрофы на грузовиках по обсаженным тополями дорогам, окаймленным канавами, где водилось много мелких живых существ, которые, однако, плохо поддавались наблюдению из-за облаков пыли, поднимаемых грузовиками. Когда мы подъехали к тому месту, где прежде был завод, часть нашего отряда назначили охранять значительные запасы боевого снаряжения, которое почему-то не взорвалось; остальным было приказано тушить пожар, перекинувшийся на соседнее поле, и после выполнения этой задачи нас послали разыскивать трупы близ территории завода и в окружающих полях. Мы разыскали и перенесли в импровизированную мертвецкую множество трупов, и я должен откровенно сознаться, что мы были потрясены, обнаружив, что эти мертвые — женщины, а не мужчины. В те времена женщины еще не стригли волос, как это делалось позднее в течение нескольких лет в Европе и Америке, и сильнее всего, — вероятно, потому, что это было самое непривычное, — нас смущали их длинные волосы, а в тех случаях, когда их не было, мы смущались еще больше. Я припоминаю, что после того как мы добросовестно разыскали все целые трупы, мы стали собирать найденные части. Эти отдельные куски нам чаще всего приходилось вынимать из остатков колючей проволоки, которая плотным кольцом окружала территорию завода, что наглядно свидетельствовало об эффективности сильновзрывчатых веществ. Много таких кусков было найдено на значительном расстоянии от завода, в полях, куда их отнесло силой взрыва.

Я помню, как, вернувшись в Милан, двое-трое из нас обсуждали это происшествие и единодушно высказали мнение, что благодаря необычному, почти неправдоподобному виду мертвых и отсутствию раненых, катастрофа показалась нам менее ужасной, чем это могло бы быть. К тому же то обстоятельство, что мы приехали непосредственно после взрыва и, следовательно, переносить мертвых и перекладывать их было не так уж неприятно, отличало наше сегодняшнее занятие от работы на поле боя. Приятная прогулка по красивым, хотя и пыльным дорогам Ломбардии тоже в немалой степени вознаградила нас за неприятные обязанности, которые нам пришлось взять на себя, и по возвращении мы все говорили о том, как это хорошо, что начавшийся перед самым нашим приездом пожар удалось потушить так быстро, прежде чем огонь добрался до огромных, по-видимому, запасов невзорвавшегося снаряжения. Мы также все сошлись на том, что собирание отдельных кусков — занятие необычайное, и всего поразительнее то, что человеческое тело разрывается на части не по анатомическим линиям, а дробится на куски причудливой формы, похожие на осколки снарядов.

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** Это совсем не занятно.

— Тогда бросьте читать. Никто вас не заставляет. Но только не перебивайте.

Для большей точности своих наблюдений естествоиспытатель нередко избирает какой-нибудь определенный период, и я для начала ограничусь периодом, последовавшим за австрийским наступлением в Италии в июне тысяча девятьсот восемнадцатого года, потому что именно в то время наблюдалось наибольшее количество мертвых, и поскольку оставленные по необходимости позиции впоследствии были вновь атакованы и отбиты, то по окончании боя обстановка ничем не отличалась от первоначальной, если не считать наличия мертвых. Внешний вид мертвых, до их погребения, с каждым днем несколько меняется. Цвет кожи у мертвых кавказской расы превращается из белого в желтый, в желто-зеленый и черный. Если оставить их на продолжительный срок под солнцем, то мясо приобретает вид каменноугольной смолы, особенно в местах переломов и разрывов, и отчетливо обнаруживается присущая смоле радужность. Мертвые с каждым днем увеличиваются в объеме, так что иногда военная форма едва вмещает их, и кажется, что сукно вот-вот лопнет. Иногда отдельные члены принимают огромные размеры, а лица становятся тугими и круглыми, как воздушные шары. Более всего поражает, наряду с прогрессирующей точностью, количество бумаг, разбросанных вокруг мертвых. Окончательное положение, которое мертвые принимают еще задолго до

похорон, зависит от того, где находятся карманы данной военной формы. В австрийской армии брючные карманы расположены сзади, и, следовательно, все мертвые спустя короткое время оказываются лежащими ничком, с вывернутыми двумя задними карманами, а вокруг них по траве разбросаны бумаги, которые прежде находились в этих карманах. Жара, мухи, характерное положение тел и множество разбросанных по траве бумаг — вот приметы, которые остаются в памяти. Запах поля боя в жаркую погоду вспомнить нельзя. Можно знать, что был такой запах, но ничего никогда не напоминает о нем. Этим он отличается от запаха казармы, который иногда вновь ощущаешь в трамвае, и стоит поднять глаза, чтобы увидеть человека, напомнившего о нем. Но то ушло так же безвозвратно, как уходит влюблённость; помнишь все, что было, но нельзя вызвать самого ощущения.

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** Мне всегда нравится, когда вы пишете про любовь.

— Благодарю вас, сударыня.

Хотел бы я знать, что из увиденного в жаркий день на поле боя могло бы вернуть надежду неустранимому путешественнику Мунго Парку? В конце июня и в июле между колосьями пшеницы цвели маки, тутовые деревья были одеты густой листвой, и волны зноя поднимались от стволов винтовок, когда солнце было в них сквозь шатер листвы; земля по краям воронок, вырытых снарядами с горчичным газом, была ярко-желтая, и любой развалившийся дом живописней, чем дома, никогда не знавшие обстрела, но вряд ли путешественник стал бы вдыхать полной грудью воздух теплого летнего утра и предаваться тем же мыслям о созданных по образу и подобию Божию, каким предавался Мунго Парк.

Первое наблюдение, которое я сделал над мертвыми, состояло в том, что тяжело раненные умирали, как животные. Одни умирали быстро, от ничтожной царапины, от которой, казалось, не умер бы и кролик. Они умирали от ничтожных ран, как иногда умирают кролики от трех-четырех дробинок, едва задевших кожу. Другие умирали, как кошки; с проломленным черепом и пулей в мозгу, они лежали иногда по два дня, словно кошки, которые с простреленным мозгом залезают в ящик для угля и не умирают до тех пор, пока им не отрежут голову. Не знаю — может быть, они и после этого не умирают, говорят, у кошки девять жизней, но большинство людей умирают, как животные, не как люди. Тогда я еще не видел так называемой естественной смерти и, считая, что в этом виновата война, верил, подобно неустранимому путешественнику Мунго Парку, что есть еще что-то, это вечно отсутствующее еще что-то, а потом и я увидел естественную смерть.

Единственный случай естественной смерти, который мне пришлось видеть, кроме смерти от потери крови, что не так уж плохо, была смерть от испанки. От испанки умирают, задушенные слизью. А теперь я хотел бы видеть смерть кого-нибудь из называющих себя «гуманистами»,<sup>[16]</sup> ведь такие неустрашимые путешественники, Как Мунго Парк или я, еще существуют, и, может быть, им суждено дожить до физической смерти некоторых членов этой литературной секты и наблюдать их полный достоинства уход из жизни. Мои раздумья естествоиспытателя навели меня на мысль, что хотя благопристойность — прекрасная вещь, но дальнейшее существование человеческого рода требует, чтобы не все были благопристойны, ибо положение, предписанное производителям потомства, неблагопристойно, в высшей степени неблагопристойно, и, быть может, так называемые гуманисты и являются результатом благопристойного сожительства. Но независимо от того, каково было их начало, я надеюсь увидеть конец некоторых из них и стараюсь предугадать, как черви приступят к этому консервированному бесплодию; творенья их — лишь тлен и прах, их страсть — вся в сносках, не в стихах.

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** Это очень милый стишок про страсть.

— Знаю. Я заимствовал его у Эндрю Марвелла. Этому я научился у Т. С. Элиота.

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** Элиоты старые друзья нашей семьи. Кажется, они торговали лесом.

— Мой дядя женат на дочери лесоторговца.

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** Как интересно.

— Возможно, что в главе о мертвых закономерно говорить об этих самозваных гуманистах, хотя ко времени выхода в свет данной книги это звание и может потерять всякий смысл, но это несправедливо по отношению к тем мертвым, которые не были смолоду живыми мертвецами, не издавали журналов и в большинстве своем, без сомнения, никогда и не читали их, и которых мне довелось видеть в жаркий день с полпинтой копошащихся червей на том месте, где раньше был рот. Но не всегда на долю мертвых выпадала жаркая погода, чаще они лежали под дождем, и дождь обмывал их и размягчал землю, в которой их хоронили, и случалось, что дождь лил до тех пор, пока земля не превращалась в грязь, и вымывал их обратно, и их снова приходилось хоронить. Зимой, в горах, мы зарывали их в снег, а весной, когда снег таял, их хоронил кто-нибудь другой. В горах у мертвых были прекрасные кладбища — война в горах прекраснейшая из всех войн, и на одном таком кладбище, в селении Покол, был похоронен генерал, которому снайпер прострелил голову. Вот в чем ошибка тех

авторов, которые пишут книги под названием «Генералы умирают в постели», потому что этот генерал умер в окопе, вырытом в снегу высоко в горах; голову его прикрывала альпийская шляпа с орлиным пером, на лбу виднелось отверстие, куда не вошел бы и мизинец, а на затылке зияла дыра, где поместился бы кулак — небольшой кулак, и если бы кому-нибудь вздумалось его туда засунуть, а подле него на снегу было много крови. Он был отличный генерал, так же как и генерал фон Бер, который командовал Баварским альпийским корпусом в сражении при Капоретто и был убит итальянским арьергардом в штабной машине, когда въезжал в Удине во главе своих войск. И такие книги следовало бы называть «Генералы обычно умирают в постели», если стремиться хоть к приблизительной точности в этих вопросах.

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** Когда же начнется рассказ?

— Сейчас, сударыня, одну минуту. Вы скоро получите его.

Снег иногда падал и на мертвых, которые лежали около перевязочного пункта, расположенного в горах, на защищенном от снарядов склоне. Их вносили в мертвецкую, вырытую в склоне горы до того, как земля замерзла. В этом подземелье раненый, голова которого была разбита вдребезги, как разбивается цветочный горшок, — хотя черепки и сдерживались перепонками и искусно наложенной повязкой, успевшей пропитаться кровью и затвердеть, — лежал с застрявшим в мозгу стальным осколком день, ночь и еще день. Санитары просили врача спуститься вниз и взглянуть на раненого. Каждый раз, когда они входили в мертвецкую, они его видели, а если старались не смотреть на него, то все равно слышали его дыхание. У врача от слезоточивого газа веки покраснели и опухли, он едва мог открыть глаза. Он дважды ходил смотреть на раненого; один раз — днем, другой — при свете карманного фонаря. Это тоже послужило бы хорошим сюжетом для Гойи, — я имею в виду медицинский осмотр при свете карманного фонаря. Когда врач во второй раз взглянул на раненого, он поверил санитарам, что раненый солдат еще жив.

— Что вы от меня хотите? — спросил врач.

Они ничего не хотели. Но немного погодя они пришли и попросили разрешения вынести его из мертвекой и положить с тяжело раненными.

— Нет, нет и нет, — сказал врач. Он был очень занят. — А в чем дело? Боитесь вы его, что ли?

— Неприятно, что он дышит там, среди мертвых.

— А вы не слушайте. Если вы возьмете его оттуда, вам придется тут же нести его обратно.

— Это пустяки, господин капитан.

— Нет, — сказал врач. — Нет. Вы слышали, что я сказал?

— Почему вы не вспрыснете ему достаточную дозу морфия? — спросил артиллерийский офицер, который пришел на перевязку раненой руки.

— Вы думаете, мне морфий больше девать некуда? Прикажете оперировать без морфия? У вас есть револьвер, ступайте и пристрелите его сами.

— В него и так уже стреляли, — сказал офицер. — Вот если бы вас, врачей, подстрелить, вы бы иначе заговорили.

— Благодарю покорно, — сказал врач, размахивая щипцами. — Покорно вас благодарю. А глаза мои? — Он показал на них щипцами. — Как бы вам это понравилось?

— Слезоточивый газ. Мы считаем, что повезло, если всего только слезоточивый газ.

— Потому что вы уходите с передовой, — сказал врач. — Потому что вы сейчас же прибегаете сюда, как только нюхнете слезоточивого газа, чтобы вас эвакуировали в тыл. Вы глаза луком натираете.

— Вы не в своем уме. Я не слушаю ваших оскорблений. Вы просто сумасшедший.

Вошли санитары.

— Господин капитан, — сказал один из них.

— Вон отсюда! — крикнул врач.

Они вышли.

— Я пойду пристрелю беднягу, — сказал артиллерийский офицер. — Я человек гуманный. Я не дам ему мучиться.

— Идите стреляйте, — сказал врач. — На свою ответственность. Я подам рапорт: раненый застрелен артиллерийским офицером на медицинском пункте первой линии. Стреляйте. Идите пристрелите его.

— Вы изверг.

— Мое дело заботиться о раненых, а не убивать их. Пусть этим занимаются господа артиллеристы.

— Почему же вы о нем не заботитесь?

— Я позаботился. Я сделал все, что мог.

— Почему вы не отправите его фуникулером в госпиталь?

— По какому праву вы задаете мне вопросы? Что вы, начальник мой, что ли? Кто заведует этим пунктом, вы или я? Будьте любезны ответить.

Артиллерийский офицер молчал. В перевязочной дожидались очереди одни рядовые, офицеров, кроме него, не было.

— Отвечайте, — сказал врач, беря иголку щипцами. — Я жду вашего

ответа.

— Пошел к черту, — сказал артиллерийский офицер.

— Так, — сказал врач. — Так, так. Хорошо. Хорошо. Увидим.

Офицер встал и шагнул к врачу.

— Пошел к черту, — сказал он. — К черту мать твою, сестру твою...

Врач выплеснул ему в лицо полное блюдце йода, а офицер, зажмурясь, бросился на врача, ощупью вытаскивая револьвер.

Врач одним прыжком очутился позади офицера, подставил ему ногу и, когда тот упал, несколько раз пнул его носком и поднял револьвер руками в резиновых перчатках. Офицер сидел на полу, прижав к глазам здоровую руку.

— Я убью вас! — сказал он. — Я убью вас, как только смогу глаза открыть.

— Здесь я хозяин, — сказал врач. — Я вам все прощу, если вы поймете, что я здесь хозяин. А убить меня вы не можете, ваш револьвер у меня. Сержант! Позовите фельдшера!

— Фельдшер на остановке фуникулера, — сказал сержант.

— Промойте офицеру глаза спиртом с водой. Йод попал. Принесите таз, мне нужно руки вымыть. Я займусь им сейчас.

— Не смейте меня трогать.

— Держите его крепче. Он бредит.

Вошел один из санитаров.

— Господин капитан.

— Что вам нужно?

— Раненый в мертвецкой...

— Убирайтесь вон!

— ...умер, господин капитан. Я подумал, что вы рады будете это слышать.

— Ну, вот видите, дорогой. Мы ссоримся из-за пустяков. Во время войны мы ссоримся из-за пустяков.

— Пошли к черту, — сказал артиллерийский офицер. Он все еще ничего не видел. — Вы мне выжгли глаза.

— Это пустяки, — сказал врач. — Сейчас пройдет. Пустяки, ссора из-за пустяков.

— Ой, ой, ой! — вдруг закричал офицер. — Вы выжгли мне глаза! Вы выжгли мне глаза!

— Держите его крепче, — сказал врач. — Ему очень больно. Держите его как можно крепче.

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** И это все? А разве не будет того, что мы в молодости называли заключением?

**АВТОР.** Ах, сударыня, уже много лет, как я отказался от заключений. А вам его действительно не хватает?

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** По правде говоря, сударь, мне больше нравится с заключением... И вы как будто сказали, что это будет вроде «Занесенных снегом» Джона Гринфилда Уиттира?

— Сударыня, я опять ошибся. Мы метим высоко, но редко бьем по цели.

**СТАРАЯ ЛЕДИ.** Знаете, при более близком знакомстве вы мне нравитесь все меньше и меньше.

— Сударыня, никогда не следует близко знакомиться с автором.

Я не знаю ни одного современного скульптора, за исключением Бранкузи, чьи работы хоть отчасти обнаруживали бы такое совершенство пластики, как новейшая техника боя быков. Но, подобно пению или танцам, это преходящее искусство, одно из тех искусств, которых Леонардо да Винчи советовал избегать, и когда исполнитель сошел со сцены, его искусство живет только в памяти очевидцев и умирает вместе с ними. Разглядывание фотографий, чтение описаний, слишком частые попытки припомнить виденное могут лишь убить память о нем. Будь искусство боя быков непреходящим, оно могло бы стать одним из высоких видов искусства, но это не так, и потому оно исчезает вместе с создавшим его, тогда как в других отраслях искусства о творчестве того или иного мастера даже и судить-то трудно, прежде чем его бренные останки не будут преданы земле. Предмет этого искусства — смерть, и смерть уничтожает его. Но, возразят вам, оно не пропадает полностью, ибо во всяком искусстве все открытия, все закономерные новшества подхватываются и продолжаются кем-нибудь другим. Так что, собственно говоря, ничего не потеряно, кроме самого мастера. Да и сколь утешительна мысль, что даже если бы с кончиной художника исчезали и его полотна, то все открытия, скажем, Сезанна, не пропали бы, а нашли себе применение у его подражателей. Как бы не так!

Вообразите, что картины художника исчезают вместе с ним, а книги писателя автоматически уничтожаются после его смерти и впредь существуют только в памяти тех, кто их читал. Именно это происходит в бое быков. Мастерство, метод, усовершенствованная техника, открытия остаются; но тот, кто задумал все это и осуществил, кто был пробным камнем, первоисточником, исчезает, а потом — пока не явится другой столь

же великий мастер — все достигнутое первым, усилиями подражателей искажается, растягивается, укорачивается, тускнеет и теряет всякое сходство с оригиналом. Любое искусство создается только крупными мастерами. Вне их творчества нет ничего, и все направления в искусстве служат лишь для классификации бесталанных последователей. Когда появляется истинный художник, великий мастер, он берет все то, что было постигнуто и открыто в его искусстве до него, и с такой быстротой принимает нужное ему и отвергает ненужное, словно он родился во всеоружии знания, ибо трудно представить себе, чтобы человек мог мгновенно овладеть премудростью, на которую обыкновенный смертный потратил бы целую жизнь; а затем великий художник идет дальше того, что было открыто и сделано ранее, и создает свое, новое. Но иногда проходит много времени, прежде чем опять явится великий художник, и те, кто знал старых мастеров, редко сразу признают нового. Они отстаивают старое, хотят, чтобы все было так, как хранит их память. Но другие, младшие современники, признают новых мастеров, наделенных даром молниеносного постижения, и в конце концов и приверженцы старины сдаются. Их нежелание сразу признать новое простительно, ибо, ожидая его, они видели так много лжемастеров, что стали придирчивы и перестали доверять собственным впечатлениям; надежной казалась только память. А память, как известно, всегда подводит.

А как же Старая леди? Нет ее. Мы в конце концов выбросили ее из книги. Поздновато, по-вашему? Да, пожалуй, можно бы и раньше. А лошади? О лошадях нечего сказать, кроме того, что всегда говорят о них, рассуждая о бое быков. Может быть, достаточно о лошадях? Предостаточно, по-вашему? Всем нравится бой быков, но никто не любит смотреть на несчастных коняг. Может быть, поднять общий тон? Не поговорить ли нам о более высоких материях?

Мистер Олдос Хаксли так начал свой эссе, озаглавленный «Предумышленное низколобие»: «В книге (следует название книги автора этих строк) мистер Х. рискнул помянуть одного из старых мастеров. В единственной фразе, необычайно выразительной (здесь мистер Хаксли вставил несколько лестных слов), говорится о «горестных следах гвоздей» на теле Христа у Мантены; и тут же, скорей, скорей, испугавшись собственной дерзости (словно миссис Гаскэлл, если бы ей невзначай случилось помянуть ватерклозет), автор, краснея от стыда, возвращается к более низким предметам. Было время, в недалеком прошлом, когда тупые и необразованные люди пытались казаться умными и просвещенными. Ныне

мы наблюдаем обратное явление: отнюдь не редкость натолкнуться на умного и просвещенного человека, который из кожи лезет вон, лишь бы выставить себя тупицей и скрыть от всех полученное им образование...» и так далее и так далее в том же духе, с присущей мистеру Хаксли высокой просвещенностью — очень высокой, нечего и говорить.

Ну, так как же? Очко в пользу мистера Хаксли, никаких сомнений. Что вы можете возразить на это? Разрешите мне ответить чистосердечно. Прочитав эти строки у мистера Хаксли, я достал экземпляр книги, на которую он ссылается, перелистал ее, но не нашел приведенных им слов. Может быть, они и есть, но у меня не хватило терпения разыскивать их, да и желания особенного я не испытывал, поскольку книга уже вышла и ничего нельзя было изменить. Такие места, как эта цитата, обычно стараешься вымарать еще в рукописи. Думается мне, тут вопрос более сложный, чем желание или нежелание козырять своей образованностью. Когда писатель пишет роман, он должен создавать живых людей, а не литературные персонажи. Персонаж — это карикатура. Если писателю удается заставить этих людей жить, может быть, в его книге и не будет значительных героев, но, возможно, его роман останется как целое, как нечто единое, как книга. Если людям, которых писатель создает, свойственно говорить о старых мастерах, о музыке, о современной живописи, о литературе или науке, пусть они говорят об этом и в романе. Если же не свойственно, но писатель заставляет их говорить, он обманщик, а если он сам говорит об этом, чтобы показать, как много он знает, — он хвастун. Как бы удачен ни был оборот или метафора, писатель должен применять их только там, где они безусловно нужны и незаменимы, иначе, из тщеславия, он портит свою работу. Художественная проза — это архитектура, а не искусство декоратора, и времена барокко миновали. Если автор романа вкладывает в уста своих искусственно вылепленных персонажей собственные умствования, — что несравненно прибыльнее, чем печатать их в виде очерков, — то это не литература. Люди, действующие в романе (люди, а не вылепленные искусно персонажи), должны возникать из накопленного и усвоенного писателем опыта, из его знания, из его ума, сердца, из всего, что в нем есть. Если он не пожалеет усилий и вдобавок ему посчастливится, он донесет их до бумаги в целости, и тогда у них будет больше двух измерений и жить они будут долго. Хороший писатель должен по возможности знать все. Разумеется, так не бывает. Когда писатель очень талантлив, кажется, что он наделен знанием от рождения. На самом деле этого нет: он наделен от рождения только способностью приобретать знание без осознанных усилий и с меньшей

затратой времени, чем другие люди, а кроме того — умением принимать или отвергать то, что уже закреплено как знание. Есть вещи, которым нельзя выучиться быстро, и в таких случаях мы дорого платим за ученье, потому что время — единственное наше достояние. Это самые простые вещи, и на познание их уходит вся жизнь, а поэтому те крупицы нового, которые каждый человек добывает из жизни, драгоценны, и это единственное наследство, которое остается после него. Каждая правдиво написанная книга — это вклад в общий фонд знаний, предоставленный в распоряжение идущему на смену писателю, но и этот писатель, в свою очередь, должен внести определенную долю своего опыта, чтобы понять и освоить все то, что принадлежит ему по праву наследования, — и идти дальше. Если писатель хорошо знает то, о чем пишет, он может опустить многое из того, что знает, и если он пишет правдиво, читатель почтвует все опущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об этом. Величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды. Писатель, который многое опускает по незнанию, просто оставляет пустые места. Писатель, который столь несерьезно относится к своей работе, что изо всех сил старается показать читателю, как он образован, культурен и изыскан, — всего-навсего попугай. И заметьте: не следует путать серьезного писателя с торжественным писателем. Серьезный писатель может быть соколом, или коршуном, или даже попугаем, но торжественный писатель всегда — сыч.

...Мадрид, в сущности, странный город. Я уверен, что с первого раза он никому не может понравиться. В нем совсем нет того, чего привыкли ждать от Испании. Это вполне современный город, без всякой экзотики: ни национальных костюмов, ни кордовских шляп — разве что на голове какого-нибудь шарлатана, — ни кастаньет, ни отвратительных подделок вроде цыганских пещер в Гренаде. Во всем городе нет ни одного уголка с местным колоритом на потребу туристам. Но когда вы узнаете его поближе, вы почувствуете, что это самый испанский город в Испании, что жить в нем очень приятно, что мадридцы — чудесный народ, что там из месяца в месяц стоит отличная погода и что любой другой крупный центр, столь характерный для провинции, в которой он расположен, представляет либо Андалусию, либо Каталонию, либо Страну басков, либо Арагон, либо еще какую-нибудь область. Только в Мадриде вы почувствуете подлинную сущность Испании, ее квинтэссенцию. А квинтэссенция может храниться в самой обыкновенной бутылке, и не нужны ей никакие пестрые ярлыки, как Мадриду не нужны национальные костюмы; какое бы здание ни возвели

мадридцы, — пусть даже оно напоминает Буэнос-Айрес, — достаточно увидеть его на фоне этого неповторимого неба, и вы уже знаете, что вы в Мадриде. Не будь там ничего, кроме музея Прадо, и то, — если средства позволяют вам провести месяц в одной из европейских столиц, — стоило бы каждую весну пожить месяц в Мадриде. Но когда к вашим услугам и Прадо, и сезон боя быков, когда меньше двух часов езды отделяют вас от Эскуриала на севере и от Толедо на юге, и прекрасные дороги ведут к Авиле и Сеговии, а оттуда рукой подать до Ла-Гранха, — тогда очень горько сознавать — безотносительно к вопросу о бессмертии, — что настанет конец и не придется больше видеть все это.

Музей Прадо в высшей степени характерен для Мадрида. Снаружи он не более живописен, чем американский колледж. Полотна развешаны так бесхитростно, так удобно для обозрения, так хорошо на них падает свет, так мало сделано усилий — за исключением картины Веласкеса «Менины» — выставить напоказ и подать поэффектнее прославленные шедевры, что турист, перелистывающий красный или голубой каталог в поисках самых знаменитых полотен, невольно испытывает разочарование. В сухом горном воздухе чудесно сохранились краски, картины висят просто, без затей, их отлично можно рассмотреть, — уж нет ли тут обмана? Мне случалось видеть недоуменные взгляды туристов. Слишком свежи краски, слишком хорошо видны эти картины, — не могут они быть творениями старых мастеров. Так бывает только в торговых помещениях, где картины современных художников выставлены на продажу и где стараются показать товар лицом. Что-то здесь неладно, думает турист. Какой-то подвох. То ли дело итальянские картинные галереи: там за свои деньги набегаешься, разыскивая нужное полотно, а если и найдешь его, то не разглядишь как следует. Тогда только он и восчувствует, что перед ним великое искусство. Он полагает, что великому искусству требуются пышные рамы и либо красный бархат, либо плохое освещение для придания ему блеска. Такой турист похож на человека, который, зная о некоторых сторонах жизни только из порнографических книг, вдруг очутился бы перед обаятельной женщиной и увидел ее во всей наготе, без прикрас и ухищрений, молча ожидающей на самом неприхотливом ложе. Ему, вероятно, понадобилось бы руководство или, на худой конец, некоторые справки и указания. Может быть, это одна из причин, почему об Испании написано столько книг. На каждого любителя Испании приходится десяток людей, предпочитающих книги о ней. Франция, наоборот, — на нее больший спрос, чем на книги о Франции.

Самые толстые книги об Испании обычно пишут немцы, которые едут

туда на длительное время, но никогда больше не возвращаются. Я склонен думать, что это неплохая система: если кому-нибудь непременно нужно писать об Испании, то пусть пишет как можно скорее, после первой же поездки, ибо дальнейшее знакомство со страной может только затемнить первое впечатление, и тогда уже нельзя будет делать выводы с такой легкостью...

Хотите поболтать? О чем? О живописи? О чем-нибудь, что понравилось бы мистеру Хаксли? Или подняло бы значение книги? Пожалуйста, здесь конец главы, мы можем это сделать. Так вот: немецкий искусствовед Юлиус Мейер-Грэфе приехал в Испанию с целью посмотреть Гойю и Веласкеса, дабы они вдохновили его на годные для печати излияния восторга, но ему больше понравился Эль Греко, поэтому он написал книгу, в которой превозносил Греко и доказывал, какие плохие художники Гойя и Веласкес, причем судил о них по тому, как каждый из них написал распятие Иисуса Христа.

Трудно было придумать что-нибудь глупее этого, ибо из всех троих один Греко верил в Христа или интересовался распятием его. Судить о художнике можно только по картинам, на которых он пишет то, во что верит, или что любит, или ненавидит, а судить о Веласкесе, любившем пышность наряда и верившем в живопись ради живописи, по портрету полуголого человека, распятого на кресте, которым он ничуть не интересовался и который, — Веласкес не мог не чувствовать этого, — вполне удовлетворительно был изображен в той же позе другими художниками, — просто неумно.

Гойя походил на Стендадля: вид сутаны для этих ревностных антиклерикалов был огромным стимулом к творчеству. Распятие Гойи — грубо намалеванная лубочная олеография, которая с успехом могла бы служить объявлением о предстоящем распятии, — что-то вроде афиши о бое быков. «На мадридской Центральной Голгофе, в пять часов дня, с разрешения властей, состоится распятие шести отборных спасителей. Выступают лучшие, знаменитейшие, искуснейшие распинатели, каждый со своей куадрильей сколачивателей, пригвоздителей, крестоводрузителей, крестовкопателей» и так далее.

Греко любил писать картины на религиозные сюжеты, потому что он, несомненно, был религиозен и еще потому, что это давало ему возможность не ограничивать свое несравненное искусство точным воспроизведением черт лица тех аристократов, с которых он писал портреты, уходить от них в свой собственный мир и — вольно или невольно — наделять апостолов,

святых, спасителей и мадонн чертами и формами двуполых существ, населявших его воображение.

Веласкес верил в костюмную живопись, в гончих, карликов и опьяняющие в живопись. Гойя не признавал костюма, он верил в черные и серые тона, в пыль и свет, в нагорья, встающие из равнин, в холмы вокруг Мадрида, в движение, в свою мужскую силу, в живопись, в гравюру и в то, что он видел, чувствовал, осознал, держал в руках, обонял, ел, пил, подчинял, терпел, вылезывал, брал, угадывал, подмечал, любил, ненавидел, обходил, желал, отвергал, принимал, проклинал и губил. Конечно, ни один художник не может все это написать, но он пытался.

Греко верил в город Толедо, в его местоположение и архитектуру, в некоторых его обитателей, в голубые, серые, зеленые и желтые тона, в красные тона, в Святого Духа, в причастие и всех святых, в живопись, в жизнь после смерти и в смерть после жизни и в сказку...

Если бы я написал настоящую книгу, в ней было бы все. Музей Прадо, похожий на американский колледж, с зеленою лужайкой, которую поливают по утрам под жарким солнцем мадридского лета; голые меловые холмы вокруг Карабанчеля, августовские дни, проведенные в поезде, когда на солнечной стороне опущены занавески и ветер колышет их; поднимающаяся над гумном мякина, которую ветром доносит до стенок вагона; запах пшеницы и сложенные из камня ветряные мельницы. В ней был бы Альсасуа, где кончается цветущий край, а по ту сторону обширной равнины — Бургос, где мы ели сыр в номере гостиницы; и юнец, который вез с собой образцы вин в оплетенных флягах; он в первый раз ехал в Мадрид и от восторга откупоривал их одну за другой, и все перепились, включая двух гражданских гвардейцев, и я потерял билеты, и гвардейцы провели нас через контроль на перроне (они шли по бокам, как будто конвоируя арестантов — ведь билетов-то не было, — а потом, взяв под козырек, посадили нас в такси); и еще там было бы про Хадли с завернутым в носовой платок бычьим ухом — ухо стало очень твердое и сухое, и вся шерсть повылезла, а матадор, который отрезал его, теперь тоже лысый и зализывает длинные пряди волос на голой макушке, но тогда он был красивый. Правда, правда — очень красивый.

Нужно было бы показать, как меняется местность, когда в сумерках, миновав горы, поезд въезжает в Валенсию, а вы держите на коленях петуха, которого ваша соседка по вагону везет в подарок своей сестре; описать деревянное здание цирка в Альсирасе, где убитых лошадей выволакивают прямо в поле и приходится переступать через них; и шум на мадридских

улицах после полуночи, и ярмарку, которая в июне открыта до утра, и возвращение пешком с боя в такси. Que tal? Malo, hombre, malo,<sup>[17]</sup> и, как всегда, подымает плечи; я ему — дон Роберто, он мне — дон Эрнесто, он так учтив, так любезен и такой хороший друг. И дом, в котором Рафаэль жил до того, как звание республиканца стало почетным, с чучелом бычьей головы — быка убил Гитанелло — на стене, и большим кувшином для оливкового масла в углу, и всегда вас там ждали подарки и необыкновенно вкусный ужин.

Нужно было бы описать запах жженого пороха, и дымок, и вспышку, и треск ракеты, взорвавшейся над зеленою листвой деревьев, и вкус ледяного оршада, и чисто вымытые, залитые солнцем улицы, и дыни, и росинки, выступившие на кувшине с пивом; аистов на крышах Барко де Авила и аистов, кружящих в небе; красноватый песок арены; и танцы по ночам под волынки и барабаны, огоньки в зеленою листве и портрет Гарибальди в рамке из листвьев. Будь это настоящая книга, в ней были бы незадачливые матадоры, плавающие в водах Мансанареса вдоль Пардской дороги вместе с дешевыми проститутками; по одежде протягивай ножки, говорил Луис; игра в мяч на берегу, где распутный маркиз вышел из машины со своим другом боксером; и как мы возвращались домой пешком, в темноте, а по дороге мимо нас катили машины; сквозь листву светили электрические лампочки, роса прибивала пыль, и мы поеживались от ночной прохлады; и еще в ней было бы о сидре в Бомбилье, о дороге от Сантьяго де Кампостела до Понтеведра, где стеной стоят высокие сосны и по обочине растут кусты черники; и об Альгабено, самом бессовестном из всех тореро-очкивирателей; и о том, как Маэра поменялся одеждой с патером в гостинице Кинтаны, в тот единственный год, когда так много пили, но никто не безобразничал. Такой год был, верно вам говорю, — но это еще не настоящая книга...

И о том говорилось бы здесь, как мы в Аоиси завтракали, а потом плавали в реке Ирати, и вода была прозрачная и светлая, сначала теплая, а чем глубже, тем все холодней, еще холодней, а под конец ледяная, и о прибрежных деревьях, под которыми мы прятались от солнца, и о спелой пшенице, колыхаемой ветром, на другом берегу, по склону горы. В верхнем конце долины, где река берет начало между двумя скалами, стоит древний замок; и мы лежали голые в невысокой траве, сперва на солнце, а потом под деревьями. Вино в Аоисе было неважное, и мы привезли свое, и ветчина тоже не годилась, и когда мы поехали туда в другой раз, мы захватили завтрак из гостиницы Кинтаны. Кинтана был страстный любитель боя быков и мой самый верный друг в Испании, а гостиница —

превосходная и всегда переполнена.

И почему бы в книге об Испании не быть коннице, вброд пересекающей другую реку, и о том, как тень листвы падает на лошадей, — или пехоты, шагающей по утрамбованной белой глине во дворе школы пулеметчиков; если смотреть на солдат издалека, стоя у окна своего номера, то они кажутся очень маленькими, а за ними видны горы. А бывает, проснешься воскресным утром, когда улицы пусты, и вдруг слышится далекая команда, а потом стрельба. Это не редкость, если живешь достаточно долго и кочуешь с места на место.

При хорошей памяти, можно снова, сидя в машине, проехать лесом по берегу Ирати, где деревья как на картинке из книги сказок. Теперь их свели. Теперь вниз по реке сплавляют бревна, а рыбу выловили; в Галисии ее глушили и отравляли; результат один, так что в конечном счете здесь почти то же, что дома, кроме желтого дрока на горных лужайках и мелкого дождя. Тучи набегают с моря из-за гор, но, когда дует южный ветер, Навара вся золотится пшеницей, только она не растет на равнинах, а подымается и спускается по склонам, и прорезают ее дороги, окаймленные деревьями, и торчат колокольни деревушек, где пахнет овечьим пометом, а на площади привязаны лошади...

...В Мадриде хорошо пройтись пешком по городу, посидеть в кафе, где можно почерпнуть много полезных сведений о том, кто кому должен и кто кому и как надул, и почему он сказал ему, поцелуй меня в одно место, и у кого от кого дети, и кто женился на ком до всего, а кто после, и сколько на что нужно времени, и что говорит доктор. И как он радовался, что с доставкой быков вышла задержка, значит, их выгрузят только перед самым боем, и ноги у них, понятное дело, не успеют окрепнуть, и довольно будет помахать перед мордой мулетой, а потом раз — и готово, но пошел дождь, и бой отложили на целую неделю, и тут-то он и подхватил болезнь. И кто с кем когда и почему не стал драться, и что она... Да разве она?.. Ну, еще бы, дурень, неужели ты этого не знал? Да она поедает их живьем, одного за другим, что верно, то верно, — и еще много нужного и ценного вы узнаете в кафе. В кафе, где никто никогда не ошибается; где все матадоры храбрые; где на столиках скопляются блюдца и число выпитых рюмок записывают карандашом на мраморной доске между тарелками со скорлупой креветок, и царит бодрое настроение, потому что в кафе победы достаются легко, и к восьми часам каждый чувствует себя героем, если только есть кому заплатить по счету.

Что еще должно быть в книге о стране, которую очень любишь? Рафаэль говорит, что теперь все не то, и в Памплону он больше не поедет.

«La Либертад», по-моему, уже сильно смахивает на парижскую «Тан». Это уж не та газета, через которую вы могли обратиться к карманнику, выкравшему у вас бумажник, как в те времена, когда республиканцы еще не были в почете, и Памплона, конечно, изменилась, но все же меньше, чем нас изменили годы. Я убедился, что стоит выпить, — и все опять становится почти таким, каким было всегда. Я знаю, что сейчас много перемен, и меня это не огорчает. Ведь и я уже не тот. Мы все уйдем из этого мира прежде, чем он изменится слишком сильно, и, если не случится нового потопа, и после нас на севере все так же летом будет лить дождь, и соколы будут вить гнезда под куполом собора в Сантьяго де Компостела и в Ла-Гранха, где мы учились действовать плащом на длинных тенистых дорожках, посыпанных гравием, и не все ли равно, бывают там еще фонтаны или нет. Но мы уже больше не будем возвращаться из Толедо в темноте, глотая дорожную пыль и запивая ее фундадором, и не повторится та неделя в Мадриде и все, что произошло той июльской ночью. Мы видели, как это ушло, и еще многое уйдет на наших глазах. Самое главное — жить и работать на совесть; смотреть, слушать, учиться и понимать; и писать о том, что изучил как следует, не раньше этого, но и не слишком долго спустя. Пусть те, кто хочет, спасают мир, — если они видят его ясно и как единое целое. Тогда в любой части его, если она показана правдиво, будет отражен весь мир. Самое важное — работать и научиться этому. Нет. Это еще не настоящая книга, но кое-что нужно было сказать. Нужно было сказать о некоторых насущных и простых вещах.

*Переводчик: В. Топер*

## 12. Вино Вайоминга

Был жаркий полдень в Вайоминге; вдали виднелись горы и снег на вершинах, но они не отбрасывали тени, и в долине желтели пшеничные поля, на дороге стояла пыль от проезжающих машин, и все деревянные домики по окраине городаpekлись на солнце. Я сидел за столиком на заднем крылечке у Фонтэнов, в тени высокого дерева, и мадам Фонтэн принесла с погреба холодного пива. Автомобиль, ехавший по шоссе, свернул на проселок и остановился перед домом. Двое мужчин вылезли из машины и прошли в калитку. Я спрятал бутылки под стол. Мадам Фонтэн встала.

— Где Сэм? — подойдя к затянутой сеткой двери, спросил один из мужчин.

— Его нет дома. Он на работе, в шахте.

— Пиво есть?

— Нет. Пива больше нет. Вот последняя бутылка. Все вышло.

— А он что пьет?

— Это последняя бутылка. Все вышло.

— Бросьте, дайте нам пива. Вы же меня знаете.

— Пива больше нету. Последняя бутылка. Все вышло.

— Поедем дальше, достанем где-нибудь и получше здешнего, — сказал другой, и они пошли к машине. Один из них пошатывался. Машина дернула, сделала крутой поворот, вынеслась на шоссе и скрылась из глаз.

— Поставьте пиво на стол, — сказала мадам Фонтэн. — Чего вы испугались? Зачем вы это? Нехорошо пить пиво из бутылки на полу.

— Я не знал, кто они такие, — сказал я.

— Пьяные, — сказала она. — В этом-то вся беда. Купят где-нибудь, а потом скажут, что здесь брали. Может быть, они, правда, не помнят. — Она говорила иногда по-французски, но чаще по-английски вперемежку с французскими словами.

— Где Фонтэн?

— Возится с вином. Mon Dieu, он обожает вино.

— Но вы любите пиво?

— Oui! Я люблю пиво, но Фонтэн обожает вино.

Мадам Фонтэн, уроженка города Ланс, была довольно полная старушка с приятным румяным лицом, вся седая, очень чистенькая и аккуратная; в доме ее тоже все блестало чистотой и опрятностью.

— Где вы обедали?

— В отеле.

— Кушайте у нас. Нехорошо manger<sup>[18]</sup> в отеле или ресторане. Кушайте здесь.

— Мне не хочется затруднять вас. И в отеле кормят неплохо.

— Я никогда не обедаю в отеле. Может быть, там и неплохо кормят. За всю свою жизнь я только один раз обедала в Америке в ресторане. И знаете, что мне подали? Сырую свинину!

— Да что вы?

— Правда, правда. Свинину, недожаренную! А мой сын женат на américaine и ест только консервы из бобов.

— А они давно женаты?

— Oh, mon Dieu, я даже не знаю. Его жена весит двести двадцать пять фунтов. Она не работает. Она не стряпает, она кормит его консервами из бобов.

— Что же она делает?

— Читает. Только и делает что читает книги. Целый день валяется в постели и читает. И детей она больше иметь не может. Слишком толста. Для ребенка места нет.

— Что же это она?

— Целый день читает. Он хороший garçon. Много работает. Раньше он был шахтером, теперь работает на ранчо. Он никогда не работал на ранчо, но хозяин сказал Фонтэну, что у него еще не было такого хорошего работника. А когда он приходит домой после работы, она его не кормит.

— Почему же он не разведется с ней?

— У него нет денег на развод. И он обожает ее.

— Она красивая?

— Ему кажется, что красивая. Когда он привел ее, я чуть не умерла от горя. Он такой хороший garçon и всегда так много работает, не шатается зря и такой смиренный. И вдруг поехал на нефтеразработки и привез эту Indienne, а весила она уже тогда ровно сто восемьдесят пять фунтов.

— Она индианка?

— Ну да, mon Dieu. Она всегда, tout le temps, говорит сукин сын, черт побери. И не работает.

— Где она сейчас?

— В театре.

— В театре?

— В кинотеатре. Только и делает что читает да в кино ходит.

— У вас есть еще пиво?

— Mon Dieu, oui. Конечно, есть. Приходите вечером, пообедаете с нами.

— Хорошо. А что принести с собой?

— Ничего не надо. Ничего не приносите. Может быть, у Фонтэна вино уже будет готово.

Вечером я обедал у Фонтэннов. Мы ели в столовой, и стол был покрыт чистой скатертью. Мы пробовали молодое вино. Оно было очень легкое, светлое и приятное, и в нем еще чувствовался вкус винограда. За столом, кроме меня, сидели хозяин, хозяйка и их младший сын Андрэ.

— Что вы сегодня делали? — спросил Фонтэн, сухонький старичок, изможденный работой на рудниках, с обвислыми седыми усами и ясным взором; родом он был из Сантра, близ Сент-Этьена.

— Работал над книгой.

— И все сошло по вашим книгам? — спросила мадам Фонтэн.

— Он говорит про книгу, которую сам пишет. Он писатель, — объяснил Фонтэн.

— Папа, можно мне в кино? — спросил Андрэ.

— Можно, — сказал Фонтэн.

Андрэ повернулся ко мне.

— Как вы думаете, сколько мне лет? Можно поверить, что четырнадцать? — Он был худ и мал ростом, но по лицу видно было, что ему уже шестнадцать.

— Да. Можно поверить, что четырнадцать.

— Когда я хожу в кино, я весь съеживаюсь, чтобы казаться поменьше. — Голос у него был очень звонкий, ломающийся. — Если я плачу двадцать пять центов, мне сдачи не дают, но если плачу только пятнадцать, меня тожепускают.

— Тогда я дам тебе только пятнадцать центов, — сказал Фонтэн.

— Нет. Дай мне все двадцать пять. Я разменяю по дороге.

— Только возвращайся домой *tout de suite*<sup>[19]</sup> после кино, — сказала мадам Фонтэн.

— Хорошо, я сейчас же вернусь. — Андрэ вышел из комнаты. Вечер становился прохладным. Он оставил дверь открытой, и снаружи потянуло холодком.

— Mangez! — сказала мадам Фонтэн. — Вы совсем ничего не кушаете.

Я уже съел две порции курятины с жареным картофелем, три порции кукурузы, несколько огурцов и две порции салата.

— Может быть, он хочет кекса, — сказал Фонтэн.

— Надо было мне взять кекса для него, — сказала мадам Фонтэн. — Кушайте сыр. Это хороший, из сливок. Вы совсем ничего не кушаете. Надо было взять кексу. Américains всегда едят кекс.

— Но я наелся до отвала.

— Кушайте! Вы ничего не ели. Съешьте все. Мы никогда ничего не оставляем на завтра. Кушайте еще.

— Возьмите еще салату, — сказал Фонтэн.

— Я принесу еще пива, — сказала мадам Фонтэн. — Вы, наверно, проголодались за целый день на своей книжной фабрике.

— Она не понимает, что вы писатель, — сказал Фонтэн. Стариk был деликатен в обращении, но хорошо помнил армейский жаргон и солдатские песенки, бывшие в ходу к концу девяностых годов, когда он отбывал воинскую повинность. — Он сам пишет книги, — объяснил он жене.

— Вы сами пишете книги? — спросила мадам Фонтэн.

— Случается.

— О! — воскликнула она. — О! Вы сами их пишете. О! Тогда вы, конечно, проголодались. Mangez! Я сейчас принесу de la bûche.

Мы слышали, как она по лестнице спустилась в погреб. Фонтэн улыбнулся мне. Он очень снисходительно относился к людям, которые не обладали его опытом и знанием жизни.

Когда Андрэ вернулся из кино, мы втроем сидели на кухне и беседовали об охоте.

— В День Труда мы все поехали к Чистому Ручью, — сказала мадам Фонтэн. — Oh, mon Dieu, как жаль, что вас с нами не было. Мы все поехали на грузовике. Tout le monde est alle на грузовике. Это было в воскресенье. На грузовике Чарли.

— Мы ели, пили вино, пиво, а один француз, который тоже поехал с нами, привез абсенту, — сказал Фонтэн. — Француз из Калифорнии!

— Mon Dieu, как мы пели! Один фермер вышел посмотреть на нас, мы дали ему выпить, и он немного побыл с нами. А потом подошли Italiens, и они тоже хотели остаться. Мы спели смешную песенку про итальянцев, но они ничего не поняли. Они не понимали, что они нам мешают, а мы не стали с ними разговаривать, и они скоро ушли.

— А рыбы много наловили?

— Очень мало. Мы пошли удить рыбу, но ненадолго, а потом вернулись и опять принялись петь. Мы пели, понимаете, — сказал Фонтэн.

— А ночью, — сказала мадам Фонтэн, — все женщины спали в грузовике. Мужчины легли у костра. Среди ночи, слышу, подходит Фонтэн

и хочет взять еще вина, а я говорю ему, mon Dieu, Фонтэн, оставь что-нибудь на завтра. Завтра нечего будет пить, и все будут огорчены.

— Но мы все выпили, — сказал Фонтэн. — И на завтра ничего не осталось.

— Что же вы делали?

— Рыбу ловили. По-настоящему ловили.

— Верно. Отличной форели наловили. Mon Dieu, oui. Все одинаковые, полфунта и одна унция.

— Крупные?

— Полфунта и одна унция. Порционные. Все одинаковые, полфунта и одна унция.

— Вы любите Америку? — спросил меня Фонтэн.

— Видите ли, это моя родина. И я люблю ее, потому что это моя родина. Но едят в Америке неважко. Когда-то ели хорошо, а теперь нет.

— Oui, — сказала мадам Фонтэн. — Едят неважко. — Она покачала головой. — А потом здесь слишком много поляков. Когда я была маленькой, та *mere* говорила мне. Ты ешь как *les Polacks*. Я не понимала, что это значит — *Polacks*. Тогда не понимала, а здесь, *en Amérique*, я поняла. Слишком много поляков. Et, mon Dieu, они грязные, *les Polacks*.

— В Америке прекрасная охота и рыбная ловля, — сказал я.

— Да. Это лучше всего. Охота и рыбная ловля, — сказал Фонтэн. — Какое у вас ружье?

— Духовое, двенадцатикалиберное.

— Это хорошо. — Фонтэн кивнул головой.

— Я тоже хочу на охоту, — сказал Андрэ звонким мальчишеским голосом.

— Тебе нельзя, — сказал Фонтэн. Он повернулся ко мне. — Они просто дикари, эти юнцы. Они рады застрелить друг друга.

— Я буду охотиться один! — с азартом крикнул Андрэ. — Совсем один.

— Тебе нельзя на охоту, — сказала мадам Фонтэн. — Ты еще маленький.

— Я буду охотиться один! — еще пронзительнее крикнул Андрэ. — Я хочу стрелять мускусных крыс.

— Что это такое — мускусные крысы? — спросил я.

— Вы никогда не видели их? Наверно, видели. Их еще называют ондатрами.

Андрэ обеими руками сжимал двадцатидвухкалиберное ружье, которое он достал из шкафа.

— Они дикари, — сказал Фонтэн. — Они рады застрелить друг друга.

— Я буду охотиться один, — упрямо повторил Андрэ. Он прицелился из ружья. — Я хочу стрелять мускусных крыс. Я знаю, где их много.

— Дай сюда ружье, — сказал Фонтэн. Он опять повторил, обращаясь ко мне. — Это дикари. Они готовы застрелить друг друга.

Андрэ крепко сжимал ружье.

— Я только целюсь. Что же тут такого? Я только целюсь.

— Он обожает охоту, — сказала мадам Фонтэн. — Но он еще маленький.

Андрэ спрятал двадцатидвухкалиберное ружье обратно в шкаф.

— Когда я вырасту, я буду стрелять зайцев и мускусных крыс, — сказал он. — Один раз я ходил с папой на охоту, и он только подстрелил зайца, а убил его я.

— Верно, — Фонтэн кивнул. — Он убил зайца.

— Но папа сначала подстрелил его, — сказал Андрэ. — А я хочу охотиться один и стрелять один. На будущий год мне уже можно будет. — Он уселся в угол и раскрыл книгу. Я заглянула в нее, когда мы после обеда перешли из столовой в кухню. Книга была библиотечная: «Фрэнк на борту канонерки».

— Он любит книжки, — сказала мадам Фонтэн. — Но это лучше, чем шататься по ночам с другими *garçons* и воровать.

— Книги — это хорошо, — сказал Фонтэн. — Monsieur сам пишет книги.

— Oui, c'est vrai. Конечно. Но слишком много книг — нехорошо, — сказала мадам Фонтэн. — En Amérique книги — это болезнь. Как и церкви. Здесь слишком много церквей. Во Франции только les catholiques et les protestants и очень мало protestants. Но здесь много, много разных церквей. Когда я приехала сюда, я все говорила, oh, mon Dieu, на что столько церквей?

— Верно, — сказал Фонтэн, — слишком много церквей.

— Недавно, — сказала мадам Фонтэн, — к нам приехала одна девочка, француженка, со своей матерью, родственницей Фонтэна, и она говорит мне: «En Amérique не надо быть catholique. Нехорошо быть catholique. Américains не любят, когда кто-нибудь catholique. Это как сухой закон». А я говорю ей: «Кем же ты хочешь быть, а? Раз уж ты catholique, то лучше уж и оставаться catholique». А она говорит: «Нет, нехорошо быть catholique в Америке». А я думаю, что если кто catholique, то лучше уж оставаться catholique. Нехорошо менять свою веру.

— Вы ходите в церковь?

— Нет. В Америке я не хожу в церковь, только иногда, очень редко. Но я все-таки остаюсь catholique. Нехорошо менять свою веру. Mon Dieu, non.

— Говорят, что Смит католик, — сказал Фонтэн.

— Так говорят, но кто его знает? — сказала мадам Фонтэн. — Вряд ли Смит catholique. В Америке очень мало catholiques.

— Мы католики, — сказал я.

— Oui, но вы живете во Франции, — сказала мадам Фонтэн. — Вряд ли Смит catholique. Он жил когда-нибудь во Франции?

— Поляки — католики, — сказал Фонтэн.

— C'est vrai, — сказала мадам Фонтэн. — Они идут в церковь, потом всю дорогу домой лезут друг на друга с ножами и весь воскресный день режут друг друга. Но они не настоящие catholiques. Они Polack catholiques.

— Все католики одинаковые, — сказал Фонтэн. — Католики все похожи друг на друга.

— Я не верю, что Смит catholique, — сказала мадам Фонтэн. — Это ужасно смешно, если он catholique. Я не верю.

— Он правда католик, — сказал я.

— Смит — catholique, — задумчиво повторила мадам Фонтэн. — Никогда бы не поверила. Mon Dieu, il est catholique.

— Принеси еще пива, Мари, — сказал Фонтэн. — Monsieur хочет пить, и я тоже.

— Oui, сейчас, — отозвалась мадам Фонтэн из соседней комнаты. Она спустилась в погреб, и мы слышали, как скрипят ступени. Андрэ сидел в углу и читал. Фонтэн и я сидели за столом, и он налил пива из последней бутылки в наши стаканы, оставив немного на донышке.

— Хороша в Америке охота, — сказал Фонтэн. — Я очень люблю стрелять уток.

— Во Франции тоже отличная охота, — сказал я.

— Верно, — сказал Фонтэн. — У нас там много дичи.

Мадам Фонтэн вернулась из погреба с бутылками пива в руках.

— Il est catholique, — сказала она. — Mon Dieu, Смит est catholique.

— Вы думаете, он будет президентом? — спросил Фонтэн.

— Нет, — сказал я.

На другой день я поехал к Фонтэнам — сперва в тени городских домов, потом по пыльной дороге, свернул на проселок и остановил машину у калитки. День опять был жаркий. Мадам Фонтэн вышла на заднее крыльцо. Она была точно бабушка Мороз — чистенькая, румяная, вся седая и походка вперевалочку.

— Bonjour, — сказала она. — Mon Dieu, какая жара. — Она пошла в комнаты за пивом. Я сидел на крылечке и сквозь сетку на двери и листву высокого дерева смотрел на дрожащий от зноя воздух и на далекие горы. Горы были бурые, в глубоких бороздах, а над ними высились три пика и покрытый снегом ледник, белеющий сквозь деревья. Снег был очень белый, очень чистый и казался ненатуральным. Мадам Фонтэн вышла на крыльце и поставила на стол бутылки,

— На что это вы смотрите?

— На снег.

— Красивый снег.

— Выпейте со мной стаканчик.

— Ну что ж. За красивый снег. Она села на стул рядом со мной.

— Смит, — сказала она. — Как вы думаете, если он будет президентом, опять разрешат вино и пиво?

— Конечно, — сказал я. — Смит не подкачет.

— Мы уже заплатили семьсот пятьдесят пять долларов штрафу, когда арестовали Фонтэна. Два раза нас арестовывала наша полиция, а один раз федеральная. Все, что мы скопили, пока Фонтэн работал в шахте, а я ходила по стиркам. Все отдали. А Фонтэна посадили в тюрьму. Он в жизни своей мухи не обидел.

— Он хороший человек, — сказал я. — Это просто позор.

— Мы ведь дорого не берем. Вино — доллар за литр. Пиво — десять центов бутылка. Мы никогда не продаем пиво, пока оно не готово. А многие продают пиво сразу, как только сварят, и тогда от него голова болит. Что мы делали плохого? А Фонтэна посадили в тюрьму, и нам пришлось отдать семьсот пятьдесят пять долларов.

— Возмутительно, — сказал я. — А где Фонтэн?

— С вином возится. Теперь ему надо смотреть за ним, чтобы не испортить, — улыбнулась она. Она уже забыла о штрафе. — Вы знаете, он обожает вино. Вчера вечером он принес немножко, вот то, что вы пили, и еще чуточку молодого. Совсем молодого. Оно еще не спело, но он пробовал его, а сегодня утром подлил в кофе. Понимаете, в кофе! Он обожает вино. Он уж такой. Родина его такая. У нас, на севере, вина не пьют. Все пьют пиво. Мы жили рядом с большой пивоварней. Когда я была маленькая, я не любила запаха хмеля, я отворачивалась от тележек, на которых его привозили. И в полях, где он растет, не любила. Mon Dieu, как я не любила запаха des houblons. Хозяин пивоварни сказал мне и моей сестре, чтобы мы пришли в пивоварню и выпили пива, и тогда мы полюбим запах хмеля. И верно. После этого мы его полюбили. Хозяин

велел налить нам пиво. Мы выпили и после этого полюбили запах хмеля. Но Фонтэн, он обожает вино. Один раз он убил зайца и попросил меня сделать к нему соус с вином, черный соус с вином и поджаренными грибами и луком и всякой всячиной. Mon Dieu, я сделала такой соус, а он съел его весь и говорит: «Соус вкуснее зайца». На его родине так едят. Там много дичи и много вина. А я люблю картофель, колбасу и пиво. C'est bon, la biere. C'est tres bon для здоровья.

— Да. Пиво, это хорошо, — сказал я. — И вино неплохо.

— Вы как Фонтэн. Но здесь я видела такое, чего никогда в жизни не видала. И вы, наверно, не видели. Были у нас américains, и они подливали виски в пиво!

— Не может быть, — сказал я.

— Oui. Mon Dieu, c'est vrai<sup>[20]</sup>. И одну женщину вырвало прямо на стол!

— Неужели?

— Правда, правда. Ее вырвало на стол. А потом на ее туфли. А потом они еще приезжали и сказали, что хотят в будущую субботу опять устроить вечеринку, а я сказала, нет, mon Dieu, non. Когда они приехали, я заперла дверь.

— Противно, когда так напиваются.

— Зимой, когда les garçons едут на танцы, они подъезжают в машинах, и дожидаются у калитки, и говорят Фонтэну: «Эй, Сэм, продай нам бутылку вина», — или они берут пиво и вытаскивают из кармана бутылку виски и подливают в пиво и пьют. Mon Dieu, в жизни моей не видела ничего подобного. Подливать виски в пиво! Уж этого я никак понять не могу.

— Они того и хотят, чтоб их тошнило, тогда они по крайней мере чувствуют, что пьяны.

— Как-то раз заходит un garçon, который часто к нам приезжает, и просит меня приготовить им ужин и несколько бутылок вина, и девушки тоже будут, а потом они поедут на танцы. Я сказала, хорошо. Приготовила я им ужин, и они приехали, все уже навеселе. А потом стали подливать виски в пиво. Mon Dieu, ош!. Я говорю Фонтэну, их стошнит. Oui, говорит он. Потом девушек стошнило, а девушки были очень милые, славные такие. Их рвало прямо на стол. Фонтэн хотел взять их под руку и показать им, где уборная, там удобнее, когда тошнит, но les garçons сказали, не надо, им и здесь хорошо, за столом.

Вернувшись домой Фонтэн подошел к нам.

— Когда они опять приехали, я заперла дверь. Нет, говорю, и за

полтораста долларов не пущу. *Mon Dieu, non.*

— По-французски есть слово для людей, которые так себя ведут, — сказал Фонтэн. Его разморило от жары, и он казался очень старым.

— Какое?

— *Cochons*, — сказал он очень деликатно и как бы стесняясь произнести такое крепкое словцо. — Они вели себя как свиньи. Это очень сильное выражение, — добавил он извиняющимся тоном. — Но... прямо на стол. — Он сокрущенно покачал головой.

— Свиньи, — сказал я. — Иначе не назовешь. Просто свиньи. Пакостники.

Грубые слова были неприятны Фонтэну. Он поспешил заговорить о другом.

— Бывает, что приезжают и очень славные люди, очень воспитанные, — сказал он. — Например, офицеры с форта. Очень милые, славные люди. Все, кто хоть раз побывал во Франции, приезжают сюда выпить вина. Они любят вино.

— Был один офицер, — сказала мадам Фонтэн, — которого жена никуда не пускала. И вот он говорит ей, что устал, и ложится в постель, а как только она уйдет в кино, он бежит прямо к нам, иногда в одной пижаме, только пальто накинет. Мари, ради бога, говорит, дайте пива. И сидит у нас в пижаме и пьет пиво, а потом возвращается в форт и опять ложится в постель, прежде чем жена придет, из кино.

— Удивительный чудак, — сказал Фонтэн, — но очень славный.

— *Mon Dieu, oï!*, очень славный, — повторила мадам Фонтэн. — Всегда уже в постели, когда жена приходит из кино.

— Я завтра уезжаю, — сказал я. — В индейскую резервацию. Мы хотим поспеть к открытию охоты на тетеревов.

— Да? Но вы еще вернетесь сюда? Вы приедете к нам?

— Непременно.

— К тому времени и вино поспеет, — сказал Фонтэн. — Разопьем вместе бутылочку.

— Три бутылочки, — сказала мадам Фонтэн.

— Приеду непременно.

— Так мы вас ждем, — сказал Фонтэн.

— Спокойной ночи, — сказал я.

Из резервации мы вернулись днем. Мы были на ногах с пяти часов утра. Накануне мы отлично поохотились, но в тот день за все утро не видели ни одного тетерева. Ехать в открытой машине было очень жарко, и

мы остановились перекусить в тени, под высоким деревом на обочине дороги. Солнце стояло высоко, и клочок тени под деревом был очень мал. Мы поели сэндвичей и сухого печенья, нам очень хотелось пить, и мы очень устали и были рады, когда наконец выехали на шоссе, ведущее в город. Мы заметили впереди колонию луговых собачек, остановили машину и стали стрелять по ним из пистолета. Двух собачек мы убили, но потом прекратили стрельбу, потому что те пули, которые не попадали в цель, отскакивали от камней и летели в поле, а за полем виднелись деревья на берегу ручья и жилой дом, и мы не хотели нарваться на неприятности из-за шальных пуль, летевших в сторону дома. Мы поехали дальше и наконец очутились на дороге, которая спускалась под гору к окраине города. Вдали, по ту сторону равнины, высались горы. В тот день они были голубые, и снег на вершинах сверкал точно стекло. Лето подходило к концу, но на вершинах гор еще не было свежевыпавшего снега, — только старый, подтаявший на солнце снег со льдом, и он ярко сверкал издалека.

Нам хотелось посидеть в тени и выпить чего-нибудь холодного. Мы обгорели на солнце, губы у нас потрескались от жары и солончаковой пыли. Мы свернули на проселок к Фонтэнам, остановили машину у калитки и вошли в дом. В столовой было прохладно. Мы застали мадам Фонтэн одну.

— Только две бутылки пива, — сказала она. — Все вышло. А новое еще не готово.

Я дал ей немного дичи.

— Вот это хорошо, — сказала она. — Они вкусные. *C'est bon.* Спасибо. — Она вышла, чтобы убрать тетеревов в прохладное место. Когда мы допили пиво, я встал.

— Нам пора, — сказал я.

— Вы ведь приедете вечером? Фонтэн приготовит вино.

— Мы заедем до отъезда.

— Разве вы уезжаете?

— Да. Мы едем завтра утром.

— Как жаль, что вы уезжаете. Так приходите вечером, Фонтэн приготовит вино. Мы устроим пир перед вашим отъездом.

— Мы заедем до отъезда.

Но в тот день пришлось отправлять телеграммы, проверить машину, — одну камеру пропороло камнем, и ее надо было залить, — и я пешком пошел в город и сделал все, что нужно было сделать до отъезда. К вечеру я так устал, что решил остаться дома. Нам не хотелось разговоров на чужом языке. Нам только хотелось пораньше лечь в постель.

Лежа в постели среди вещей, которые служили нам все лето и утром будут упакованы в чемоданы, чувствуя прохладный ветерок с гор, проникающий в открытые окна, я подумал, как нехорошо, что мы не поехали к Фонтэнам, — но тут же уснул. На другой день мы укладывались и заканчивали наше лето, — на это ушло все утро. Мы позавтракали и в два часа были готовы к отъезду.

— Нужно заехать проститься к Фонтэнам, — сказал я.

— Да, нужно.

— Боюсь, они ждали нас вчера.

— Мы все-таки могли бы поехать.

— Жаль, что мы не поехали.

Мы простились с управляющим в конторе отеля, и с Ларри, и другими знакомыми в городе, а потом поехали к Фонтэнам. И хозяин и хозяйка были дома. Они обрадовались нам. Фонтэн казался очень старым и утомленным.

— Мы ждали вас вчера вечером, — сказала мадам Фонтэн. — Фонтэн приготовил три бутылки вина. А когда вы не приехали, он все выпил.

— Мы на одну минутку, — сказал я. — Только заехали проститься. Нам очень хотелось приехать вчера вечером. Мы собирались приехать, но мы очень устали после охоты.

— Пойди принеси вина, — сказал Фонтэн.

— Нет вина. Ты все выпил.

Фонтэн был очень расстроен.

— Я достану, — сказал он. — Подождите две минуты. Я все выпил вчера. Мы его для вас подготовили.

— Я так и думала, что вы устали. Я говорила ему, *mon Dieu*, они не приедут, они слишком устали, — сказала мадам Фонтэн. — Пойди достань вина, Фонтэн.

— Я отвезу вас в машине, — сказал я.

— Хорошо, — сказал Фонтэн. — Так будет скорее.

Мы сели в машину и, проехав по шоссе с милю, свернули на проселок.

— Вам понравится это вино, — сказал Фонтэн. — Оно удалось мне. Выпьете его вечером за ужином.

Мы остановились перед бревенчатым домом. Фонтэн постучал в дверь. Никто не откликнулся. Мы обошли кругом. Задняя дверь тоже была заперта. Возле двери валялись пустые жестянки. Мы заглянули в окно. Внутри никого не было. В кухне было грязно и неприбрано, но все окна и двери крепко заперты.

— Вот сукина дочь. Где это она шляется? — сказал Фонтэн. Он был в отчаянии.

— Я знаю, где достать ключ, — сказал он. — Подождите меня здесь. — Он подошел к соседнему дому, постучал в дверь, поговорил с женщиной, которая вышла на порог, и наконец вернулся. В руках у него был ключ. Мы попытались открыть им входную дверь, потом заднюю, но ничего не выходило.

— Вот сукина дочь, — сказал Фонтэн, — шляется где-то.

В окно мне было видно, где хранилось вино. Подойдя вплотную к окну, я чувствовал запах, который стоял внутри дома. Запах был приторный и тошнотворный, как в индейской хижине. Вдруг Фонтэн схватил лежавшую на земле доску и начал рыть землю возле задней двери.

— Я попаду в дом, — сказал он. — Попаду, сукина дочь.

Во дворе соседнего дома какой-то мужчина возился с передним колесом старенького форда.

— Не делайте этого, — сказал я. — Вон тот человек увидит. Он смотрит сюда.

Фонтэн выпрямился.

— Попробуем еще раз открыть ключом, — сказал он. Мы попробовали, но ничего не вышло. Ключ поворачивался на пол-оборота вправо и влево.

— Нам не попасть в дом, — сказал я. — Давайте вернемся.

— Я подкопаюсь под заднюю дверь, — предложил Фонтэн.

— Нет, нет, я не хочу, это опасно.

— Я подкопаюсь.

— Нет, — сказал я. — Он увидит. И у вас отберут вино.

Мы сели в машину и поехали обратно к Фонтэнам, по дороге вернув ключ соседям. Фонтэн не говорил ни слова, только ругался вполголоса. Он был удручен и подавлен. Мы вошли в дом.

— Вот сукина дочь! — сказал он. — Мы не могли достать вино. Мое собственное вино, которое я сам приготовил.

Вся радость исчезла с лица мадам Фонтэн. Фонтэн уселся в угол и подпер голову руками.

— Нам пора ехать, — сказал я. — Вы не огорчайтесь из-за вина. Выпейте без нас за наше здоровье.

— Куда ушла эта сумасшедшая? — спросила мадам Фонтэн.

— Не знаю, — ответил Фонтэн. — Не знаю, куда она ушла. А вы так и уедете без вина.

— Это неважно, — сказал я.

— Так не годится, — сказала мадам Фонтэн. Она покачала головой.

— Нам пора ехать, — сказал я. — Прощайте, всего хорошего. Спасибо

вам за все.

Фонтэн покачал головой. Он был безутешен. Мадам Фонтэн с грустью смотрела на него.

— Не расстраивайтесь из-за вина, — сказал я.

— Ему так хотелось угостить вас своим вином, — сказала мадам Фонтэн. — Вы приедете в будущем году?

— Нет. Может быть, через два года.

— Вот видишь! — сказал ей Фонтэн.

— Прощайте, — сказал я. — Не огорчайтесь из-за вина. Выпейте без нас за наше здоровье. — Фонтэн покачал головой. Он не улыбнулся. Он понимал, что все погибло.

— Вот сукина дочь, — пробормотал Фонтэн.

— Вчера вечером у него было три бутылки, — сказала мадам Фонтэн, чтобы утешить его. Но он только покачал головой.

— Прощайте, — сказал он.

У мадам Фонтэн были слезы на глазах.

— Прощайте, — сказала она. Ей очень жаль было Фонтэна.

— Прощайте, — сказали мы. Мы все были очень огорчены.

Они стояли в дверях, а мы сели в машину, и я завел мотор. Мы помахали им на прощание. Они грустно стояли рядом на крылечке. Фонтэн выглядел очень старым, а мадам Фонтэн — очень грустной. Она помахала нам, а Фонтэн ушел в комнаты. Мы свернули с шоссе.

— Они так огорчены. Старик совсем расстроился.

— Надо было поехать к ним вчера.

— Да, надо было.

Мы пересекли город и выехали на бетонную дорогу; по обе стороны ее тянулось жнивье, справа высались горы. Почти как в Испании, но это был Вайоминг.

— Я желаю им всяческого счастья.

— Не будет им счастья, — сказал я, — и Смит президентом тоже не будет.

Бетонное шоссе кончилось. Дальше мы ехали по щебню, потом равнина осталась позади, и между двумя отлогими холмами, у подножья горы, началась извилистая дорога вверх. Земля у подножья была красноватая, поросшая серыми кустами полыни, и когда дорога пошла круче, вдали, за холмами и за равниной, показались высокие горы. Теперь они были дальше от нас и еще сильнее напоминали Испанию. Дорога, сделав петлю, поднялась выше, и мы увидели впереди купающихся в пыли куропаток. Когда мы приблизились, они вспорхнули, часто хлопая

крыльями, потом плавно опустились и сели на один из холмов под нами.

— Какие они большие и красивые. Они больше европейских.

— В Америке хороша охота. La chasse, — как говорит Фонтэн.

— А когда охота кончится?

— Их уже не будет в живых.

— Мальчик будет.

— Это еще неизвестно, — сказал я.

— Надо было поехать к ним вчера.

— Ох, да, — сказал я. — Надо было поехать.

*Переводчик: В. Топер*

## 13. Дайте рецепт, доктор

Их привезли около полуночи, и потом всю ночь по коридору слышались крики русского.

— Куда он ранен? — спросил мистер Фрэзер у сиделки.

— Кажется, в бедро.

— А что с другим?

— О, боюсь, что он умрет.

— Куда он ранен?

— Две пули в брюшной полости. Нашли только одну.

Оба работали по сбору свеклы, и мексиканец и русский. Они сидели и пили кофе в ночном ресторане, когда кто-то вошел и стал стрелять в мексиканца. Русский залез под стол и был ранен неудачным выстрелом по мексиканцу, когда тот лежал уже на полу с двумя пулями в брюшной полости. Так писала газета.

Мексиканец заявил полиции, что не имеет ни малейшего представления о том, кто стрелял в него. Он считает это случайностью.

— Случайность, что он выпустил в вас восемь пуль и дважды ранил, а?

— Si, señor, [21] — сказал мексиканец, которого звали Каэтано Руиц. — Случайность, что он вообще ранил меня, этот болван, — сказал он переводчику.

— Что он говорит? — спросил агент сыскной полиции, взглянув на переводчика, стоявшего по другую сторону кровати.

— Он говорит, что это случайность.

— Скажите ему, чтобы он говорил правду. Скажите, что он умирает, — настаивал агент.

— Na! — сказал Каэтано. — Скажите ему, что мне очень плохо и мне не хотелось бы говорить так много.

— Он говорит, что это правда, — сказал переводчик. Потом, наклоняясь к агенту: — Он не знает, кто стрелял в него. Стреляли сзади.

— Да, — сказал агент. — Я понимаю. Но почему обе пули попали в живот?

— Может быть, он сочиняет? — сказал переводчик.

— Послушайте, — сказал агент, потрясая пальцем у самого носа Каэтано, заострившегося и воскового на мертвленном лице с живыми, как у ястреба, глазами. — Мне наплевать, кто стрелял в вас, но я должен

расследовать дело. Вы не хотите, чтобы тот, кто стрелял в вас, был наказан? Скажите ему это, — повторял он переводчику.

— Он говорит, чтобы вы сказали, кто стрелял в вас.

— Mandarlo al carajo! [22] — сказал Каэтано, которого одолевала усталость.

— Он говорит, что вовсе не видел его, — сказал переводчик. — Я же вам ясно говорю, что стреляли сзади.

— Спросите его, кто стрелял в русского?

— Бедняга русский! — сказал Каэтано. — Он лежал на полу, закрыв голову руками. Он начал кричать, когда в него выстрелили, и с тех пор кричит не переставая. Бедняга русский!

— Он говорит, стрелял кто-то, кого он не знает. Может быть, тот самый, который стрелял и в него.

— Послушайте! — сказал агент. — Здесь не Чикаго. Вы не бандит. Нечего разыгрывать кинодраму. Нужно сказать, кто стрелял в вас. Каждый на вашем месте сказал бы, кто стрелял в него. Ничего тут особенного нет. А что, если вы не скажете, кто он, и он застрелит кого-нибудь еще? А что, если он застрелит женщину или ребенка? Нельзя оставить его безнаказанным. Переведите ему вы, — сказал он мистеру Фрэзеру. — Я не доверяю проклятому переводчику.

— Вы можете на меня положиться, — сказал переводчик. Каэтано посмотрел на мистера Фрэзера.

— Послушайте, amigo, [23] — сказал мистер Фрэзер, — полисмен говорит, что вы не в Чикаго, а в Хэйли, штат Монтана. Вы не бандит, и это не кинодрама.

— Я верю ему, — мягко сказал Каэтано.

— Здесь можно вполне открыто называть своего обидчика. Здесь это принято, говорит он. Он говорит, гораздо хуже, если, после того как он ранил вас, он застрелит женщину или ребенка.

— Я не женат, — сказал Каэтано.

— Он говорит — какую-нибудь женщину, какого-нибудь ребенка.

— Да разве он сумасшедший? — сказал Каэтано.

— Он говорит, что вы должны назвать его, — закончил мистер Фрэзер.

— Благодарю вас, — сказал Каэтано. — Вы прекрасный переводчик. Я говорю по-английски, хотя и плохо. Но понимаю свободно. Где это вы сломали себе ногу?

— Упал с лошади.

— Вот не повезло-то. Мне очень жаль вас. Сильно болит?

— Теперь уже нет. Сначала болело.

— Послушайте, amigo, — начал Каэтано. — Я очень слаб. Извините меня. Кроме того, у меня сильные боли, очень сильные. Возможно, я умру. Пожалуйста, уберите отсюда этого полисмена. Я очень устал.

Он сделал движение, будто хотел перевернуться на бок, потом затих.

— Я передал ему в точности все, что вы сказали, и он просил передать вам, что, право же, он не знает, кто стрелял в него, и что он очень слаб, и просит вас допросить его после, — сказал мистер Фрэзер.

— А может быть, после он умрет.

— Очень возможно.

— Вот потому-то я и хочу допросить его сейчас.

— Я вам говорю, кто-то стрелял сзади, — сказал переводчик.

— А, да ну вас к черту! — сказал агент и сунул записную книжку в карман.

Выйдя в коридор, агент остановился с переводчиком возле мистера Фрэзера, сидевшего в кресле на колесах.

— Вы тоже, вероятно, думаете, что кто-то стрелял в него сзади?

— Да, — сказал Фрэзер. — Кто-то стрелял в него сзади. А почему вас это интересует?

— Не сердитесь, — сказал агент. — Хотел бы я говорить по-испански.

— А что вам мешает выучиться?

— Не нужно сердиться. Меня ничуть не забавляет задавать эти вопросы испанцу. Если бы я сам говорил по-испански — тогда другое дело.

— Зачем вам говорить по-испански? — сказал переводчик. — Вы можете на меня положиться.

— А ну вас к черту! — сказал агент. — До свиданья! Я еще приду и увижуся с вами.

— Пожалуйста. Я всегда в своей палате.

— Вам, кажется, лучше? Не повезло вам. Чертовски не повезло.

— Теперь-то уж лучше. Кость срастается.

— Да, но это очень надолго. Надолго, надолго.

— Не давайте никому стрелять в вас сзади.

— Верно, — сказал он. — Верно. Ну, я очень рад, что вы не сердитесь.

— До свиданья! — сказал мистер Фрэзер.

Мистер Фрэзер не видел Каэтано очень долго, но каждое утро сестра Цецилия приносила известия о нем.

— Он совсем не жалуется, — говорила она, — а ему очень плохо. У него перитонит, и думают, что он не выживет. Бедняга Каэтано! — говорила

она. — У него такие красивые руки и такое тонкое лицо, и он никогда не жалуется. Запах сейчас действительно ужасный. Он показывает иногда себе на нос одним пальцем и улыбается и качает головой, — говорила она. — Ему неприятен запах. Он смущается, — говорила сестра Цецилия. — О, он такой симпатичный больной! Он всегда улыбается. Он отказался исповедоваться, но обещал помолиться, и ни один мексиканец не пришел навестить его с тех пор, как его привезли. Русский выписывается в конце недели. Вот русского мне совсем не жалко, — говорила сестра Цецилия. — Бедняга, он тоже мучился. Пуля — она грязная, и рана была заражена, но он так кричал. И потом мне всегда больше нравятся нехорошие. Этот Каэтано — он мошенник. Он и в самом деле мошенник, настоящий мошенник. Он так изнежен, такого хрупкого сложения и никогда ничего не делал руками. Он не сборщик свеклы. Руки у него такие мягкие, и ни одной мозоли. Я знаю, что он нехороший. Я пойду вниз и помолюсь за него. Бедный Каэтано, ему очень худо, а он даже не стонет. За что они стреляли в него? Бедный Каэтано! Я пойду вниз и помолюсь за него.

Она пошла вниз и помолилась за него.

В этой больнице радио работало хорошо, только когда наступал вечер. Говорили, это оттого, что в горах слишком много руды или еще чего-то, но во всяком случае оно работало совсем плохо, пока на улице не начинало темнеть; но всю ночь оно работало прекрасно, и когда одна станция прекращала работу, можно было передвигаться дальше на запад и ловить другую. Последней был Сиэтл, в штате Вашингтон, и благодаря разнице во времени, когда кончали передачу в четыре часа утра, в больнице было уже пять часов утра, а в шесть можно было поймать утреннюю музыкальную передачу из Миннеаполиса. Это тоже возможно было благодаря разнице во времени, и мистер Фрэзер любил думать о музыкантах, приходящих утром в студию, и представлять себе, как они выходят из трамвая на рассвете, неся свои инструменты. Может быть, этого и не было и они оставляли инструменты там, где играли, но он всегда представлял их себе с инструментами. Он никогда не бывал в Миннеаполисе и думал, что, может быть, никогда не попадет туда, но видел ясно, как выглядит город ранним утром.

Из окна больницы виднелось поле с торчащими из-под снега стеблями и голый глинистый склон. Как-то утром доктор хотел показать мистеру Фрэзеру двух фазанов, которые ходили по снегу, и когда он двигал койку к окну, со спинки упала лампа и ударила мистера Фрэзера по голове. Сейчас

это звучит совсем не смешно, но тогда это было очень смешно. Все смотрели в окно, и доктор, прекрасный доктор, показывал на фазанов и подвигал койку к окну, и потом, совсем как в фарсе, мистера Фрэзера стукнуло свинцовой подставкой от лампы прямо по голове. Это произошло как бы вразрез с лечением, со всем тем, зачем люди ложатся в больницу, и всем это показалось ужасно смешным, как анекдот о мистере Фрэзере и докторе. В больнице все много проще, даже анекдоты.

Из другого окна, если повернуть койку, был виден город с облаком дыма над ним, и Доусон-Маунтэнз, уже покрытые снегом и оттого похожие на настоящие горы. Таковы были два вида, доступные с тех пор, как стало очевидным, что сидеть в кресле мистеру Фрэзеру еще рано. Да по правде сказать, в больнице лучше уж лежать в постели; намного лучше, располагая временем, в палате с кондиционированным воздухом, любоваться всего двумя видами, нежели многими, если видишь их наспех из жарких, пустых палат, ожидающих новых больных или только что освободившихся, куда вас вкатывают в кресле всего на несколько минут. Когда долго лежишь в одной палате, вид, каков бы он ни был, приобретает большую ценность и значительность, и не хочется его менять, ни даже поворачиваться к нему другим боком. Точно так же радио: нравятся определенные вещи, и радуешься им, и отвергаешь новые. В ту зиму лучшие песенки были: «Спой мне простую песню», «Девушка-певунья», «Маленькие небылицы». Ничто так не успокаивало, казалось мистеру Фрэзеру. «Милая Бетти» тоже была ничего, но мистеру Фрэзеру все лезли в голову другие слова, до того непристойные, что никому их и не передашь; так что в конце концов он бросил ее слушать, и когда начинали ее передавать, переключал радио на футбол.

Около девяти часов утра включали рентгеновский аппарат, и тогда слушать радио, которое к этому времени ограничивалось только одной станцией в Хэйли, становилось совсем невозможным. Многие жители Хэйли, имевшие приемники, возмущались, что больничный рентген мешает им по утрам слушать радио, но так ничего и не добились, хотя многие считали, что больница могла бы пользоваться рентгеном в другие часы, когда люди не слушают радио.

Как раз, когда пришлось выключить радио, вошла сестра Цецилия.

— Как Каэтано, сестра Цецилия? — спросил мистер Фрэзер.

— О, он очень плох.

— Он без памяти?

— Нет, но боюсь, что умрет.

— А как вы?

— Я очень беспокоюсь за него, и знаете, никто не пришел навестить его. Он может умереть, как собака, а эти мексиканцы и глазом не моргнут. Ужасные люди!

— Хотите прийти сегодня вечером послушать передачу со стадиона?

— О нет, — сказала она. — Я слишком волнуюсь. Я буду молиться в часовне.

— Я думаю, что слышно будет хорошо, — сказал мистер Фрэзер. — Будут играть на побережье, и благодаря разнице во времени это будет довольно поздно, так что мы услышим как следует.

— О нет, я не могу. В международную встречу я чуть было не умерла. Когда вышла команда «Атлеты», я прямо-таки в полный голос читала молитвы: «О боже, помоги им попасть в цель! О боже, ну, дай же ему забить! О боже, дай им выиграть!» А когда третья игра подходила к концу, тут уж я совсем не выдержала. «О боже, пусть он пробьет хорошенъко! О боже, дай ему силы». А потом настал черед бить «Кардиналам», это был сплошной ужас. «О боже, не дай ему попасть! О боже, избави ты нас от их ударов. О боже, ну пускай они промахнутся!» А это состязание еще хуже. Это команда «Notre Dame» — «Пресвятой девы»... Нет, я пойду в часовню. Они играют за пресвятую деву. За «Пресвятую деву»! Написали бы вы что-нибудь для пресвятой девы. Ведь вы можете. Вы и сами знаете, что можете, мистер Фрэзер.

— Я не знаю о ней ничего, что мог бы написать. Уже почти все написано, — сказал мистер Фрэзер. — Вам не понравится, как я пишу. Ей тоже не понравится.

— Вы когда-нибудь о ней напишете, — сказала сестра. — Я знаю, что напишете. Вы должны написать о пресвятой деве.

— Лучше приходите и послушайте состязание.

— Я не выдержу этого. Нет, лучше я пойду в часовню и помолюсь.

В этот вечер, не прошло и пяти минут с начала игры, как стажер вошел в комнату и сказал:

— Сестра Цецилия просит узнать, как идет игра.

— Скажите ей, что один гол уже забит.

Немного погодя стажер снова вошел в комнату.

— Скажите ей, что наши сшибают их с ног, — сказал мистер Фрэзер.

Немного позднее он позвонил дежурной сиделке:

— Не будете ли вы добры спуститься в часовню или передать с кем-нибудь сестре Цецилии, что «Notre Dame» выиграла четырнадцать — ноль к концу первого хватайма и что все в порядке. Она может больше не молиться.

Через несколько минут сестра Цецилия вошла в комнату. Она была сильно взволнована.

— Что значит четырнадцать — ноль? Я ничего не понимаю в футболе. Для бейсбола это было бы очень хорошо, но в футболе я ничего не смыслю. Может быть, это ничего не решает. Я сейчас же иду обратно в часовню и буду молиться до самого конца игры.

— Исход ясен, — сказал Фрэзер. — Я ручаюсь вам. Останьтесь и послушайте со мной.

— Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет, — сказала она. — Я сейчас же иду обратно в часовню молиться.

Мистер Фрэзер посыпал ей сказать каждый раз, как «Norte Dame» забивала гол, и наконец, когда уже давно стемнело, сообщил окончательный результат.

— Ну, что сестра Цецилия?

— Она всё в часовне, — сказала сиделка.

На следующее утро вошла сестра Цецилия. Она была очень довольна и весела.

— Я знала, что они не смогут обыграть «Пресвятую деву», — сказала она. — Не смогут. Каэтано тоже лучше. Много лучше. К нему сегодня придут. Он еще не может их видеть, но они придут, и ему станет легче, и он будет знать, что он не забыт своими. Я пошла в полицию к О'Брайену и сказала ему, что он должен прислать каких-нибудь мексиканцев навестить бедного Каэтано. Он пришлет кого-нибудь сегодня днем. Тогда бедняге станет лучше. Это дурно, что никто не пришел навестить его.

В тот же день около пяти часов в палату вошли три мексиканца.

— Можно? — спросил самый высокий, с мясистыми губами и очень толстый.

— Конечно, можно, — ответил мистер Фрэзер. — Садитесь, господа. Может, выпьем чего-нибудь?

— Большое спасибо, — сказал толстый.

— Спасибо, — сказал самый черный и маленький.

— Нет, спасибо, — сказал тощий. — Вино мне в голову ударяет. — Он постучал себя по голове.

Сиделка принесла стаканы.

— Подайте им, пожалуйста, бутылку, — сказал Фрэзер. — Это из Рэд-Лодж, — пояснил он.

— Из Рэд-Лодж — это самое лучшее, — сказал толстый. — Много лучше, чем из Биг-Тимбер.

— Ясно, — сказал самый маленький. — И дороже.

— В Рэд-Лодж есть на все цены, — сказал толстый.

— Сколько ламп в приемнике? — спросил тот, который не пил.

— Семь.

— Здорово! — сказал он. — Сколько он стоит?

— Не знаю, — сказал мистер Фрэзер. — Его взяли напрокат. Вы, господа, друзья Каэтано?

— Нет, — сказал толстый. — Мы друзья того, кто ранил его.

— Нас прислала сюда полиция, — сказал самый маленький.

— Мы с ним держим небольшой кабачок, — сказал толстый. — Вот с ним, — кивнул он в сторону того, который не пил. — У того тоже небольшой кабачок, — кивнул он на маленького черного. — Нам в полиции сказали прийти, мы и пришли.

— Я очень рад, что вы пришли.

— Мы тоже.

— Хотите еще по рюмочке?

— Пожалуй, — сказал толстый.

— С вашего разрешения, — сказал самый маленький.

— Мне не надо, — сказал тощий. — Вино мне в голову ударяет.

— Вино замечательное! — сказал самый маленький.

— Почему не попробовать? — спросил мистер Фрэзер тощего. — Ну, покружится голова, и всё.

— А потом болеть будет.

— Вы не могли бы прислать к Каэтано его друзей? — спросил Фрэзер.

— У него нет друзей.

— У каждого человека есть друзья.

— У него нет.

— Что он делает?

— Он игрок.

— Хороший?

— Еще бы!

— У меня, — сказал самый маленький, — он выиграл сто восемьдесят долларов. Теперь во всем мире не найдешь ста восьмидесяти долларов.

— У меня, — сказал тощий, — он выиграл двести одиннадцать долларов. Вы только представьте себе такую сумму!

— Я никогда не играл с ним, — сказал толстый.

— Он, должно быть, очень богат, — предположил мистер Фрэзер.

— Он беднее нас, — сказал маленький мексиканец. — У него только и есть что рубашка на плечах.

— Да и та теперь ничего не стоит, — сказал мистер Фрэзер, — прострелена пулями.

— Ясно.

— Тот, что ранил его, тоже игрок?

— Нет, рабочий-свекольщик. Ему пришлось уехать из города.

— Только представьте себе, — сказал самый маленький. — Он был лучшим гитаристом во всем городе. Самым лучшим.

— Какая жалость!

— Еще бы! — сказал самый крупный. — А как он играл!

— И больше не осталось хороших гитаристов?

— Ни одного.

— Есть один, он на аккордеоне играет, ничего себе, — сказал тощий.

— Да еще кое-кто играет на других инструментах, — сказал толстый. — Вы любите музыку?

— Как же!

— А что, если мы придем как-нибудь вечером поиграть вам? Как вы думаете, сестра разрешит? Она, кажется, очень симпатичная?

— Уверен, что разрешит, когда Каэтано сможет слушать музыку.

— Она что, сумасшедшая? — спросил тощий.

— Кто?

— Эта сестра.

— Нет, — сказал мистер Фрэзер. — Она милая женщина, очень умная и симпатичная.

— Я не верю ни попам, ни монахам, ни монахиням, — сказал тощий.

— Он на них насмотрелся в детстве, — сказал самый маленький.

— Я был служкой в церкви, — сказал тощий с гордостью. — Теперь я ни во что не верю. И в церковь не хожу.

— Почему? В голову ударяет?

— Нет, — сказал тощий. — Это спирт в голову ударяет. Религия — опиум для бедняков.

— А я думал марихуана — опиум для бедняков, — сказал Фрэзер.

— Вы когда-нибудь курили опиум? — спросил толстый.

— Нет.

— Я тоже, — сказал он. — Кажется, это скверная штука. Начнешь — и уже не можешь бросить. Это порок.

— Как и религия, — сказал тощий.

— Он, — сказал маленький мексиканец, — большой противник религии.

— Необходимо быть противником чего-нибудь, — вежливо сказал

мистер Фрэзер.

— Я уважаю верующих, даже если они невежественны, — сказал тощий.

— Это хорошо, — сказал мистер Фрэзер.

— Что вам принести? — спросил крупный мексиканец. — Вам что-нибудь нужно?

— Я с удовольствием купил бы пива, хорошего пива.

— Мы принесем вам пиво.

— Еще одну сорита<sup>[24]</sup> перед уходом?

— Вино замечательное.

— Мы у вас все выпили.

— Я не могу его пить. У меня голова кружится. Потом начинается головная боль и тошнота, — сказал тощий.

— До свиданья, господа!

— До свиданья, спасибо!

Они ушли. Был ужин, а потом радио, поставленное как можно тише, но так, чтобы было слышно, и станции выключались в таком порядке: Дэнвер, Солт-Лейк-Сити, Лос-Анжелос и Сиэтл. У мистера Фрэзера не создалось никакого представления о Дэнвере по радио. Он мог видеть Дэнвер только в «Дэнвер Пост» и пополнять картину по «Роки Маунтен-Ньюз». Он никогда не мог почувствовать и Солт-Лейк-Сити и Лос-Анжелос по передачам. О Солт-Лейк-Сити он знал только то, что там было чисто, но скучно, а Лос-Анжелос ему не хотелось и видеть, потому что оттуда рекламировали слишком много дансингов и слишком много крупных отелей. Дансинги он не любил. Но Сиэтл он изучил очень хорошо, его компанию таксомоторов с ее большими белыми машинами (каждая машина радиофицирована), на одной из них он каждую ночь выезжал в ресторан на Канадской стороне, где следил за ходом вечеринок по тем музыкальным номерам, которые они заказывали по телефону. Он проводил в Сиэтле каждую ночь с двух часов, слушая номера, которые требовали разные люди, и это было так же реально, как Миннеаполис, где музыканты каждое утро покидали свои постели, чтобы совершить поездку в студию. Мистер Фрэзер очень полюбил Сиэтл в штате Вашингтон.

Мексиканцы пришли и принесли пиво, но пиво было плохое. Мистер Фрэзер принял их, но ему не хотелось разговаривать, и когда они ушли, он знал, что больше они не придут. У него пошаливали нервы, и когда он был в таком состоянии, ему не хотелось видеть людей. К концу пятой недели нервы расходились, и хотя он радовался, что они продержались так долго,

он все же не хотел подвергать себя экспериментам, когда уже заранее знал их результат. Мистер Фрэзер испытывал это и раньше. Единственно, что было для него ново, это радио. Он слушал его всю ночь, приглушив его так, что было едва слышно, и приучал себя слушать, ни о чем не думая.

В это утро сестра Цецилия вошла в комнату около десяти часов и принесла почту. Она была очень красива, и мистеру Фрэзеру нравилось смотреть на нее и слушать ее, но почта, пришедшая как бы из иного мира, была важнее. Однако среди писем не оказалось ничего интересного.

— Вы гораздо лучше выглядите, — сказала она. — Вы скоро уедете от нас.

— Да, — сказал мистер Фрэзер. — У вас сегодня такое счастливое лицо.

— Да, так оно и есть. Сегодня мне кажется, что я могла бы стать святой.

Мистер Фрэзер даже растерялся.

— Да, — продолжала сестра Цецилия. — Это моя мечта. Быть святой. С самых ранних лет я мечтала стать святой. Еще девочкой я думала, что, если я откажусь от мира и уйду в монастырь, я буду святой. Я хотела быть святой, я думала, что я должна все сделать, чтобы стать святой. Я так и думала, что стану святой. Я была совершенно уверена в этом. Как-то раз на одну минуту мне показалось, что я уже святая. Я была так счастлива, мне казалось, что это так просто и легко. Когда я утром проснулась, я была уверена, что я уже святая, а оказалось — нет. Так я и не стала святой. А я так хочу стать святой. Больше ничего не хочу. Да и не хотела никогда ничего другого. А сегодня утром у меня такое чувство, что я могу быть святой. О, я уверена, что стану святой!

— Конечно, станете. Все добиваются, чего хотят. Мне об этом много твердили.

— Я еще не знаю. Когда я была девочкой, мне казалось, что это очень просто. Я знала, что буду святой. Но когда я увидела, что так сразу этого не случилось, я поняла, что это требует много времени. А теперь это кажется почти невозможным.

— По-моему, у вас все шансы.

— Вы правда так думаете? Нет, я не хочу, чтобы меня ободряли. Не ободряйте меня. Я хочу быть святой. Я так хочу быть святой!

— Конечно, вы будете святой, — сказал мистер Фрэзер.

— Нет, вероятно, не буду. Но если бы только я могла быть святой! Я была бы совершенно счастлива.

— Три шанса против одного, что вы будете святой.

— Нет, не ободряйте меня. О, если бы я могла быть святой! Если бы только я могла быть святой!

— Как ваш друг Каэтано?

— Он поправляется, но у него паралич. Одна из пуль задела нерв, проходящий через бедро, и нога парализована. Это заметили, только когда он оправился и уже мог двигаться.

— Может быть, нерв еще восстановится?

— Я молю бога, чтобы это было так, — сказала сестра Цецилия. — Вы бы повидались с ним.

— Мне не хочется никого видеть.

— Его-то вам хочется увидеть. Его могут вкатить сюда.

— Ладно.

Его вкатили в кресле, худого, с прозрачной кожей, с черными отросшими волосами; глаза у него смеялись; когда он улыбался, видны были плохие зубы.

— Hola, amigo!<sup>[25]</sup> Que tal? Как дела?

— Как видите, — сказал мистер Фрэзер, — а вы?

— Жив. Паралич ноги.

— Скверно, — сказал мистер Фрэзер. — Но нерв может восстановиться.

— Говорят — да.

— А болит еще?

— Теперь нет. Некоторое время я с ума сходил от боли в животе. Я думал, что эта боль убьет меня.

Сестра Цецилия со счастливой улыбкой наблюдала за ними.

— Она говорит, что вы даже не охнули, — сказал мистер Фрэзер.

— Столько народу в палате! — возразил мексиканец. — А у вас как? Очень болело?

— Порядочно. Но, конечно, меньше, чем у вас. Когда сиделка уходит, я плачу час, два часа. Это успокаивает. У меня с нервами сейчас очень плохо.

— У вас радио. Если бы у меня была отдельная палата и радио, я бы плакал и кричал все ночи напролет.

— Сомневаюсь.

— Честное слово, да. Это очень полезно для здоровья. Но когда столько народу — нельзя.

— По крайней мере, — сказал мистер Фрэзер, — руки остались целы. Мне сказали, что вы работаете руками.

— И головой, — сказал он, постукивая себя по лбу. — Но голова не так

важна.

— Три ваших земляка были здесь.

— По распоряжению полиции.

— Они принесли пива.

— Оно, вероятно, было плохое?

— Плохое.

— Сегодня по распоряжению полиции они придут и сыграют мне серенаду. — Он засмеялся, потом похлопал себя по животу. — Я еще не могу смеяться. А музыканты они убийственные.

— А кто стрелял в вас?

— Тоже дурак. Я выиграл у него в карты тридцать восемь долларов. Было за что убивать!

— Те трое сказали мне, что вы много выигрываете.

— И беднее любого нищего.

— Отчего?

— Я несчастный идеалист. Я жертва иллюзии. — Он засмеялся, потом скривил рот и похлопал себя по животу. — Я профессиональный игрок, но я люблю играть. Именно играть. Мелкая игра всегда нечестная. Для настоящей игры нужно, чтобы везло. Мне не везет.

— Никогда?

— Никогда. Мне никогда не везет. Вот этот баран, который стрелял в меня? Умеет он стрелять? Нет. Первый раз он промахнулся. Вторым выстрелом попал в беднягу русского. Кажется, мне повезло? Что же дальше? Он дважды попадает мне в живот. Ему везет. Мне не везет. Он не попал бы в лошадь, держа ее за стремя. Все дело в счастье.

— Я думал, он попал в вас, потом в русского.

— Нет, сначала в русского, потом в меня. Газета ошиблась.

— Почему вы не стреляли в него?

— Я никогда не ношу оружия. При моем счастье, если бы я носил оружие, меня вешали бы десять раз в год. Я — скверный игрок, и только.

Он остановился, потом продолжал:

— Когда я выиграю, я сажусь играть, а когда играю — я проигрываю. Мне случалось просаживать в кости три тысячи долларов и оставаться с шестью долларами в кармане. При хороших костях. И не один раз.

— А почему вы не бросите?

— Если доживу, счастье переменится. Мне не везет уже пятнадцать лет. Если мне когда-нибудь повезет, я разбогатею. — Он усмехнулся. — Я хорошо играю, я бы хотел разбогатеть.

— Вам во все игры не везет?

— Во все игры, и с женщинами.

Он снова улыбнулся, показав плохие зубы.

— Правда?

— Правда.

— Что же делать?

— Продолжать понемногу и ждать, когда счастье переменится.

— А с женщинами?

— Ни одному игроку не везет с женщинами. Он слишком занят. Он работает ночами. Когда же ему бывать с женщиной? Ни один мужчина, который работает ночью, не может удержать женщину, если она чего-нибудь стоит.

— Вы — философ?

— Нет, друг мой. Провинциальный игрок. Из одного городка — в другой, потом — в третий, потом — в большой город и опять все сначала.

— Потом — пуля в живот.

— Первый раз, — сказал он. — Всего один раз.

— Я вас утомляю разговорами? — спросил мистер Фрэзер.

— Нет, — сказал он. — Это я вас утомляю.

— А нога?

— Нога мне не особенно нужна. Что с ногой, что без ноги, мне все равно. Я могу переезжать и так.

— Желаю вам удачи, искренне, от всего сердца, — сказал мистер Фрэзер.

— Я тоже, — сказал он. — И чтобы боль кончилась.

— Она пройдет, конечно. Уже проходит. Это совсем не важно.

— Чтобы поскорее прошла.

— И вам того же.

\*\*\*

В тот вечер мексиканцы играли на гармонике и других инструментах в палате; это было очень весело: и вдохи и выдохи гармоники и звуки колокольчиков, трубы и барабаны разносились по всему коридору. В той же палате был ковбой, свалившийся со спины своей «Ночки» в жаркий пыльный вечер на глазах у большой толпы зевак. Теперь с переломленной спиной он собирался учиться делать ремни и плести стулья, когда поправится и выпишется из больницы. Был плотник, упавший с лесов и

сломавший обе ноги и оба запястья. Он упал, как кошка, не обладая кошачьей гибкостью. Его можно было вылечить так, что он смог бы работать снова, но на это требовалось много времени. Был мальчик с фермы, лет шестнадцати, со сломанной ногой, которая неправильно срослась, и ее нужно было снова ломать. Был Каэтано Руиц, провинциальный игрок с парализованной ногой. Через коридор до мистера Фрэзера доносились их смех и шутки по поводу игры мексиканцев, присланных полицией. Мексиканцы были довольны. Они вошли, возбужденные, к мистеру Фрэзеру и спросили, не хочет ли он, чтобы они сыграли ему что-нибудь. И еще два раза приходили играть вечером по собственному желанию.

В последний раз, когда они играли, мистер Фрэзер лежал в своей комнате с открытой дверью и прислушивался к громкой скверной музыке и не мог не думать. Когда они спросили, что ему сыграть, он попросил «Кукарачу», одну из тех зловеще легких и мажорных мелодий, под которые люди веселее идут на смерть. Они играли громко и с чувством. Мелодия казалась мистеру Фрэзеру лучше других, но эффект был тот же.

Хотя они играли с чувством, мистер Фрэзер продолжал думать. Обычно он избегал думать, кроме того времени, когда писал, но сейчас он думал о тех, кто играл, и о том, что говорил тот, маленький.

Религия — опиум для народа. Он верил в это — этот угрюмый маленький кабанчик. Да и музыка — опиум для народа. Тощий не подумал об этом. А теперь экономика — опиум для народа; так же как патриотизм — опиум для народа в Италии и Германии. А как с половыми сношениями? Это тоже опиум для народа. Для части народа. Для некоторых из лучшей части народа. Но пьянство — высший опиум для народа, о, изумительный опиум! Хотя некоторые предпочитают радио, тоже опиум для народа; самый дешевый; он сам сейчас пользуется им. Наряду с этим идет игра в карты, тоже опиум для народа, и самый древний. Честолюбие тоже опиум для народа, наравне с верой в любую новую форму правления. Вы хотите одного — минимума правления, как можно меньше правления. *Liberty*, Свобода, в которую мы верили, стала теперь названием журнала Макфэддена. Мы верим в нее, хотя не нашли еще для нее нового имени. Но где же настоящий? В чем же настоящий подлинный опиум для народа? Он знал это очень хорошо. Это только пряталось в каком-то уголке мозга, который прояснялся по вечерам после двух-трех рюмок; он знал, что это там (конечно, на самом деле этого там не было). Что же это такое? Он же знал очень хорошо. Что же это такое? Ну, конечно, хлеб — опиум для народа. Запомнит ли он это и будет ли в этом смысл при дневном свете?

Хлеб — опиум для народа.

— Послушайте, — сказал мистер Фрэзер сиделке, когда она вошла, — приведите сюда этого маленького худого мексиканца. Пожалуйста!

— Как вам понравилось? — спросил мексиканец с порога.

— Очень.

— Это историческая мелодия, — сказал мексиканец. — Это мелодия истинной революции.

— Послушайте, — сказал мистер Фрэзер, — почему людей оперируют без наркотика?

— Не понимаю.

— Почему не всякий опиум хорош для народа? Что вы хотите сделать с народом?

— Он должен быть избавлен от невежества.

— Не говорите глупостей. Образование — опиум для народа. Вы должны это знать. Вы сами учились.

— Вы не верите в образование?

— Нет, — сказал мистер Фрэзер. — В знание — да.

— Я не понимаю вас.

— Я и сам часто и с удовольствием не понимаю себя.

— Вы хотите еще раз послушать «Кукарачу»? — тревожно спросил мексиканец.

— Да, — сказал Фрэзер. — Сыграйте «Кукарачу» еще раз. Это лучше, чем радио.

«Революция, — подумал мистер Фрэзер, — не опиум. Революция — катарсис, экстаз, который можно продлить только ценой тирании. Опиум нужен до и после». Голова у него была ясная, даже чересчур ясная.

Вот они скоро уже уйдут, думал он, и унесут с собой «Кукарачу». Тогда он включит радио, ведь радио можно приглушить так, чтобы еле-еле было слышно.

Переводчик: Е.Романова

## 14. Отцы и дети

Посреди главной улицы был сигнал объезда, но обычно машины ехали прямо, и Николас Адамс, решив, что тут, вероятно, был и уже закончился какой-то ремонт, поехал прямо, не сворачивая, по безлюдной мощенной кирпичом улице; в воскресный день почти не было движения, но перед ним то и дело вспыхивали световые сигналы, которых уже не будет через год, когда ток выключат за неуплату взносов, — и, дальше, под тенистыми деревьями, обычными в маленьких городках и милыми сердцу, если ты родился в этом городе и гулял под ними, хотя чужим кажется, что от них слишком много тени и сырость в домах, — и дальше, мимо последнего дома, по шоссе, которое шло в гору, а там круто спускалось вниз между гладко срезанными откосами красной глины и рядами молодых деревьев по обеим сторонам. Он родился не здесь, но сейчас, в разгаре осени, хорошо было ехать по всем этим местам и смотреть на них. Хлопок собрали, и на полях уже поднялась кукуруза, кое-где чередуясь с полосами красного сорго; машина катилась легко, сын спал на сиденье рядом, дневной пробег был уже сделан, город для ночевки намечен, и Ник смотрел, где на маисовом поле посажена соя и где горох, как леса перемежаются вырубками, далеко ли дома и службы от полей и кустарников, и, мимоездом, он мысленно охотился по всей этой местности, зорко оглядывая каждую прогалину и соображая, где здесь должна кормиться дичь и садиться на ночлег, где можно найти выводок и куда он полетит, если его спугнуть.

На охоте, когда собаки учуяют перепелов, не следует заходить между выводком и тем местом, где он прячется, не то перепела вспорхнут все разом, одни прямо вверх, другие шурша и чуть не задевая вас по голове, и тогда они кажутся невиданно крупными, — остается только обернуться и целиться через плечо им вдогонку, пока они, сложив крылья, не упали камнем в густую заросьль. Мысленно охотясь на перепелов именно так, как научил его отец, Ник Адамс начал думать о своем отце. Первое, что вспомнилось Нику, были его глаза. Ни крупная фигура, ни быстрые движения, ни широкие плечи, ни крючковатый ястребиный нос, ни борода, прикрывавшая безвольный подбородок, никогда не вспоминались ему, — всегда одни только глаза. Защищенные выпуклыми надбровными дугами, они сидели очень глубоко, словно ценный инструмент, нуждающийся в особой защите. Они видели гораздо зорче и гораздо дальше, чем видит нормальный человеческий глаз, и были единственным даром, которым

обладал его отец. Зрение у него было такое же острое, как у муфлона или орла, нисколько не хуже.

Бывало, Ник стоит с отцом на берегу озера — в то время и у него было очень хорошее зрение, — и отец говорит ему:

— Подняли флаг. — Ник не мог различить ни шеста, ни флага на нем. — Видишь, — говорил отец, — вон там наша Дороти. Она подняла флаг, а сейчас идет к пристани.

Ник смотрел на ту сторону озера и видел длинную линию лесистого берега, за ней высокие сосны, мыс над бухтой, расчищенные холмы ближе к ферме, белый коттедж среди деревьев, но не мог различить ни шеста, ни пристани, только белый песок и изогнутую линию берега.

— Видишь стадо овец на косогоре, ближе к мысу?

— Вижу.

Оно казалось светлым пятном на серо-зеленом косогоре.

— Я могу их сосчитать, — говорил отец.

Как и все люди, обладающие какой-либо незаурядной способностью, отец Ника был очень нервен. Сверх того, он был сентиментален, и, как большинство сентиментальных людей, жесток и беззащитен в одно и то же время. Ему редко что-нибудь удавалось, и не всегда по его вине. Он умер, попавшись в ловушку, которую сам помогал расставить, и еще при жизни все обманули его, каждый по-своему. Сентиментальных людей так часто обманывают.

Пока еще Ник не мог писать об отце, но собирался когда-нибудь написать, а сейчас перепелиная охота заставила его вспомнить отца, каким тот был в детские годы Ника, до сих пор благодарного отцу за две вещи: охоту и рыбную ловлю. О том и о другом отец судил настолько же здраво, насколько не мог судить, например, о половой жизни, и Ник был рад, что вышло именно так, а не иначе: нужно, чтобы кто-нибудь подарил тебе или хоть дал на время первое ружье и научил с ним обращаться, нужно жить там, где водится рыба или дичь, чтобы узнать их повадки, и теперь, в тридцать восемь лет, Ник любил охоту и рыбную ловлю не меньше, чем в тот день, когда отец впервые взял его с собой. Эта страсть никогда не теряла силы, и Ник до сих пор был благодарен отцу за то, что он пробудил ее в нем.

Что касается другого, о чем отец не мог судить здраво, то в этом случае все что нужно дается самой природой, и каждый выучивается всему, что следует знать, без наставников, и тут все равно, где бы ты ни жил.

Зато таких необыкновенных глаз, как у отца, Нику больше ни у кого не приходилось видеть, и Ник любил его очень сильно и очень долго. Теперь,

когда он знал обо всем, не радостно было вспоминать даже самое раннее детство, до того как дела их семьи запутались. Если б можно было об этом написать, он бы освободился от этого. Он освободился от многих вещей тем, что написал о них. Но для этого не пришло еще время. Многие оставались еще в живых. Он решил думать о чем-нибудь другом. Теперь уже ничем нельзя помочь, и он много раз передумал об отце все с начала и до конца. Тот облик, который гробовщик придал его отцу, еще не стерся из памяти Ника, и все остальное он помнил совершенно ясно, до долгов включительно. Он поздравил гробовщика с успехом. Гробовщик гордился своей работой и был явно польщен. Но не гробовщик придал ему этот облик. Он только внес смелой рукой кое-какие исправления сомнительного художественного достоинства. Лицо сформировалось само собой в течение долгого времени. Оно приняло законченные очертания в последние три года. Из этого вышел бы хороший рассказ, но слишком многие оставались еще в живых, и написать его было нельзя.

Первоначальное воспитание Ника было закончено в лесах за индейским поселком. Из коттеджа в поселок вела дорога через лес до фермы и дальше по просеке до самого поселка. Он и теперь чувствовал всю эту дорогу под босыми ногами. Вначале она шла по хвойному лесу позади коттеджа, устланная перегнившей хвоей там, где бурелом рассыпался в прах, и длинные щепки торчали, словно дротики, на расколотом молнией стволе. Через ручей лежало бревно, и, оступившись, можно было увязнуть в черном болотном иле. Выйдя из лесу, надо было перелезать через изгородь, а дальше твердая, высокая на солнце дорога вела через скошенный луг с торчащими кое-где стеблями конского щавеля и коровяка, трясина же, где водились кулики, оставалась слева. На ручье стоял летний сарай. За сараем лежала куча свежего навоза, а рядом другая куча, уже подсохшая сверху. Дальше опять начиналась изгородь и твердая, горячая дорога от сарая к дому, а потом горячая песчаная дорога, сбегавшая к лесу, и здесь был мост через тот ручей, где росли тростники; их мочили в керосине и делали из них те факелы, с которыми по ночам били рыбу острогой.

Потом большая дорога сворачивала влево, огибая лес, и поднималась в гору, а по лесу шла широкая глинистая дорога, прохладная в тени деревьев и расчищенная там, где вывозили кору, которую драли индейцы. Кору складывали длинными рядами в ровные штабеля, похожие на домики, крытые корой, и ободранные стволы лежали огромные и желтые там, где валили деревья. Стволы оставались гнить в лесу, их даже не убирали и не жгли верхушек. Дубильне в Бойне-Сити нужна была только кора: зимой ее

волокли по льду через озеро, и с каждым годом становилось все меньше леса и все ширилась выжженная солнцем, поросшая бурьяном вырубка.

Но тогда леса было еще много: девственного леса, где стволы были голые внизу, и ветви начинались на большой высоте, и ноги ступали по чистому, устланному упругой коричневой хвоей грунту, на котором ничего не росло, и в самые жаркие дни там было прохладно, и они сидели втроем, прислонившись к стволу пихты шириной в два человеческих роста; ветер шумел в вершинах, прохладный свет ложился пятнами, и Билли сказал:

- Ты опять хочешь Труди?
- Труди, а ты хочешь?
- Угу.
- Идем туда.
- Нет, здесь.
- А как же Билли?..
- Ну, так что ж. Билли мой брат.

После они сидели все втроем и прислушивались к трескотне черной белки в верхних ветвях: снизу ее не было видно. Они дожидались, чтобы она снова зацокала, — когда она зацокает, то распустит хвост, и Ник будет стрелять туда, где заметит движение. Отец выдавал ему только три патрона на целый день охоты, а ружье у него было одностольное, двадцатого калибра, с очень длинным стволов.

- Не шевелится, дрянь этакая, — сказал Билли.
- Стреляй, Ники. Пугни ее. Она прыгнет. И ты опять стреляй, — сказала Труди. Для нее это была длинная речь.
- У меня только два патрона, — сказал Ник.
- Дрянь этакая, — сказал Билли.

Они сидели, прислонившись к дереву, и молчали. Нику было легко и радостно.

- Эдди говорит, он придет ночью спать к твоей сестре Дороти.
- Что-о?
- Он так сказал.

Труди кивнула.

— Он только того и ждет, — сказала она.

Эдди был их сводный брат. Ему было семнадцать лет.

— Если Эдди Гилби придет ночью и посмеет хотя бы заговорить с Дороти, знаешь, что я с ним сделаю? Убью его, вот так! — Ник взвел курок и, почти не целясь, потянул его, всаживая заряд в голову и грудь этому ублюдку Эдди.

— Вот так. Вот как я его убью.

— Тогда лучше ему неходить, — сказала Труди.

— Пусть лучше глядит в оба, — сказал Билли.

— Он хвастает, — говорила Труди, — только ты его не убивай. А то попадешь в беду.

— Вот так и убью, — сказал Ник. Эдди Гилби лежал на земле, и грудь его размозжил выстрелом. Ник гордо поставил на него ногу. — Я сниму с него скальп, — сказал он с торжеством.

— Нет, — сказала Труди, — это нехорошо.

— Сниму скальп и пошлю его матери.

— Его мать умерла, — сказала Труди. — Не убивай его, Ники, не убивай ради меня.

— Сниму скальп, а тело выброшу собакам.

Билли не на шутку встревожился.

— Пусть глядит в оба, — сказал он угрюмо.

— Собаки его в клочки разорвут, — сказал Ник, с удовольствием представляя себе эту картину. Потом, оскальпировав ублюдка Эдди, он привалился к дереву и холодно смотрел, как собаки терзают Эдди, но споткнулся и упал, а Труди крепко обнимала его за шею, чуть не душила и кричала:

— Не убивай его, не убивай, не надо, Ники! Ники! Ники!

— Что с тобой?

— Не убивай его!

— Я должен его убить.

— Он просто хвастун.

— Ладно, — сказал Ник. — Так и быть, не убью, только чтоб не подходил близко к дому. Пусти меня.

— Вот и ладно, — сказала Труди. — Хочешь теперь? Мне теперь так хорошо.

— Пускай Билли уйдет.

Ник убил Эдди Гилби, потом пощадил его и чувствовал себя мужчиной.

— Ступай, Билли. Ты все время торчишь около нас. Уходи.

— Черти, — сказал Билли. — Надоело мне это. Мы зачем пришли?

Охотиться или нет?

— Можешь взять ружье. Там остался один патрон.

— Ладно. Уж я достану ту черную.

— Я тебя тогда позову, — сказал Ник.

Прошло довольно много времени, а Билли все не возвращался.

— Как, по-твоему, будет у нас ребенок?

Труди скрестила свои смуглые ноги и прижалась к Нику.

Что-то в Нике отошло куда-то очень далеко.

— Не думаю, — сказал он.

— Будет, ей-богу, будет.

Они услышали, как выстрелил Билли.

— Интересно, убил или нет.

— Наплевать, не ходи, — сказала Труди.

Билли вышел из-за деревьев. Он держал ружье на плече и нес черную белку за передние лапы.

— Смотри! — сказал он. — Большая, больше кошки.

— Где ты ее убил?

— Там, дальше. Увидел, как она прыгнула.

— Пора домой, — сказал Ник.

— Нет еще, — сказала Труди.

— Мне нужно вернуться к ужину.

— Ну что ж. Ладно.

— Пойдешь на охоту завтра?

— Ладно.

— Белку можешь взять себе.

— Ладно.

— Выйдешь после ужина?

— Нет, не выйду.

— Тебе хорошо?

— Хорошо.

— Ну, вот и ладно.

— Поцелуй меня, — сказала Труди.

Теперь, когда он ехал по шоссе в автомобиле и темнота надвигалась все ближе и ближе, Ник перестал думать об отце. По вечерам он никогда о нем не думал. Вечер всегда принадлежал одному Нику, и в это время он чувствовал себя хорошо только в одиночестве. Отец возвращался к нему осенью или ранней весной, когда в прерии появлялись бекасы, или когда он видел кукурузу в копнах, или озеро, или лошадь, запряженную в шарaban, когда он видел или слышал диких гусей, или когда сидел в засаде на уток; или вспоминая о том, как однажды в сильную выногу орел упал на прикрытый полотном капкан и пытался взлететь, хлопая крыльями, но зацепился когтями за полотно. Отец вставал перед ним неожиданно в запущенных фруктовых садах, на свежевспаханном поле, в зарослях кустарника, на невысоких холмах, или когда он ходил по сухой траве, колол

дрова, носил воду, возле мельниц, на плотинах и всегда у костра. Города, в которых жил Ник, были уже не те города, которые знал его отец. После пятнадцати лет у него не осталось ничего общего с отцом.

В морозы борода у отца покрывалась инеем, а в жаркую погоду он сильно потел. Ему нравилось работать в поле на солнце, потому что это была его добрая воля, и он это любил, а Ник — нет. Ник любил отца, но не выносил его запаха, и один раз, когда ему дали надеть отцовское белье, которое село и уже не годилось отцу, Нику стало до того противно, что он спрятал белье под двумя камнями в ручье и сказал, что потерял его. Когда отец заставил его надеть белье, он сказал отцу, в чем дело, но отец ответил, что белье только что из стирки. Так оно и было. Ник попросил отца понюхать, он сердито понюхал и сказал, что белье чистое и свежее. Когда Ник вернулся с рыбной ловли и сказал, что потерял белье, его высекли за то, что он говорит неправду.

После этого, зарядив ружье, он долго сидел у отворенной двери дровяного сарая и, взведя курок, смотрел на отца, который читал на крыльце газету, и думал: "Я могу выстрелить в него. Разнесет в клочья". В конце концов он почувствовал, что гнев его проходит, и ему стало как-то противно вот это самое ружье, подаренное отцом. Потом, хотя уже стемнело, он ушел в индейский поселок, чтобы отделаться от этого запаха. Из всей его семьи только от одной сестры пахло приятно. Со всеми остальными он избегал соприкасаться. Это чувство притупилось, когда он начал курить. И прекрасно. Такой острый нюх годится для охотничьей собаки, а человеку он ни к чему.

— Папа, расскажи про то, как ты был маленький и охотился с индейцами.

— Не знаю, право, как тебе рассказать.

Ник удивился. Он и не заметил, что сын уже проснулся. Он посмотрел на сидящего рядом мальчика. Он не ощущал его присутствия, а мальчик не спал. "Когда же он проснулся?" — подумал Ник.

— Мы по целым дням охотились на черных белок, — сказал он. — Мой отец выдавал мне по три патрона в день и говорил, что это приучит меня целиться, а не палить весь день без толку. Я ходил с мальчиком индейцем, которого звали Билли Гилби, и с его сестрой Труди. Одно лето мы охотились почти каждый день.

— Странные имена для индейцев.

— Да, пожалуй, — согласился Ник.

— Расскажи, какие они были.

— Они были оджибуэи, — сказал Ник. — Очень славные.

— А хорошо было с ними?

— Как тебе сказать... — ответил Ник Адамс.

Как рассказать, что она была первая и ни с кем уже не было того, что с нею, как рассказать про смуглые ноги, про гладкий живот, твердые маленькие груди, крепко обнимавшие руки, быстрый, ищущий язык, затуманенные глаза, свежий вкус рта, потом болезненное, сладостное, чудесное, теснящее, острое, полное, последнее, некончающееся, нескончаемое, бесконечное — и вдруг кончилось, сорвалась большая птица, похожая на филина в сумерки, только в лесу был дневной свет и пихтовые иглы кололи живот. Вот так же, если прийти на то место, где недавно жили индейцы, по запаху чувствуешь, что они тут были, и все пустые склянки из-под лекарств и жужжание мух не могут заглушить запаха душистых трав, запаха дыма и еще одного, похожего на запах свежевыделанной куньей шкурки. Никакие анекдоты об индейцах, никакие старые скво этого изменить не могут. Не может изменить и тошнотворный сладковатый запах, идущий от них. Не может изменить и то, чем у них кончилось. Неважно, как это кончилось. С ними со всеми кончалось одинаково. Когда-то это было хорошо. А теперь нет ничего хорошего.

И о другом. Подстрелить одну птицу на лету — все равно что подстрелить сотню птиц. Все они разные и летают по-разному, но ощущение одинаковое, и последняя так же хороша, как и первая. За это он может благодарить отца.

— Тебе они, может, и не понравились бы, — сказал Ник сыну, — впрочем, нет, они славные.

— А дедушка тоже жил с ними, когда был маленький?

— Да. Когда я спросил, какие они, он ответил, что у него много друзей среди индейцев.

— А я буду жить с ними?

— Не знаю, — сказал Ник. — Зависит от тебя.

— А когда мне подарят ружье и я пойду на охоту?

— Когда тебе будет двенадцать лет, если я увижу, что ты умеешь быть осторожным.

— Хорошо бы, если б мне уже было двенадцать.

— Будет и двенадцать. Все в свое время.

— А какой был дедушка? Я его не помню, помню только, что он подарил мне ружье с пробкой и американский флаг, когда мы приехали из Франции. Какой он был?

— Как тебе сказать? Он был прекрасный охотник и рыболов, и глаза у него были замечательные.

— Он был лучше, чем ты?

— Стрелял он гораздо лучше, а его отец — без промаха.

— Ну уж, верно, не лучше тебя.

— Нет, лучше. Он стрелял очень быстро и метко. Я любил на него смотреть во время охоты. Ему не нравилось, как я стреляю.

— Почему мы никогда не съездим на могилу к дедушке?

— Мы живем совсем в другом месте. Это очень далеко отсюда.

— Во Франции это было бы неважно. Во Франции мы бы поехали. Нельзя же мне не побывать на могиле у дедушки.

— Как-нибудь поедем.

— Когда ты умрешь, хорошо бы жить где-нибудь поближе, чтобы можно было съездить помолиться к тебе на могилу.

— Придется об этом позаботиться.

— А можно всех нас похоронить в каком-нибудь удобном месте. Например, во Франции. Вот было бы хорошо!

— Не хочу, чтобы меня похоронили во Франции, — сказал Ник.

— Ну, тогда надо найти удобное место в Америке. Может, хорошо бы нас всех похоронить на ранчо.

— Неплохо придумано.

— Тогда по дороге на ранчо я бы заходил помолиться на могилу к дедушке.

— Ты очень трезво рассуждаешь.

— Как-то нехорошо, что я ни разу не побывал на могиле у дедушки.

— Придется побывать, — сказал Ник. — Вижу, что придется.

*Переводчик: Н. Дарузес*

---

notes

## **Примечания**

# 1

Ничто и снова ничто (исп.)

**2**

Еще один полуумный (исп.)

**3**

Хотите выпить? (нем.)

**4**

Да, сударь (франц.)

**5**

Знаете ли вы марки шампанского? (искаж. франц.)

**6**

Нет, сударь (франц.)

**7**

Надо знать (франц.)

**8**

Лучшее? (франц.)

**9**

Да вы еще молоды (франц.)

**10**

Господину всего тридцать пять лет (франц.)

**11**

Ваше здоровье, сударь (франц.)

**12**

Да. Это в порядке вещей (франц.)

**13**

А у вас как, сударь? (франц.)

**14**

Все благополучно (франц.)

**15**

А у меня неблагополучно (франц.)

# 16

Автор просит извинить его за упоминание этого ныне угасшего американского литературного движения. Ссылка на него, как всякая ссылка на модные течения, локализует рассказ во времени, но она сохранена автором как представляющая некоторый исторический интерес, и потому что, опустив ее, он нарушил бы ритм повествования. — **АВТОР.**

**17**

Как дела? Плохо, друг, плохо (исп.).

**18**

Кушать (франц.)

**19**

Сейчас же (франц.)

**20**

Да. О, Господи, это правда (франц.)

**21**

Да, сеньор (испанск.)

**22**

Пошел к черту! (испанск.)

**23**

Друг (испанск.)

**24**

Чашка (испанск.)

**25**

Здорово, дружище (испанск.)